

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

УКРАИНА В ОГНЕ

КИНОПОВЕСТЬ

Публикация Ю. И. Солнцевой*

Предисловие Ю. Я. Барабаша

Годы Великой Отечественной войны — один из важнейших и интереснейших периодов в жизни и творчестве выдающегося советского кинорежиссера и писателя Александра Петровича Довженко. Его литературное наследие тех лет — киноповести, рассказы, дикторские тексты к документальным фильмам, статьи, речи, записные книжки — не только открывают нам новые грани таланта художника, не только дают возможность проследить процесс становления его как писателя, публициста, но и представляют собою одну из ярких страниц советской литературы, посвященной этим «пламенным годам».

С первого же дня войны Довженко считал себя «мобилизованным и призванным». Уже 23 июня 1941 г. в одесской газете «Большевистское знамя» появляется его статья «К оружию!», проникнутая великим гневом и великой, непоколебимой верой в победу. 27 июня 1941 г. в газете «Кино» Довженко выступает со статьей «Враг будет разгромлен». Так началась публицистическая деятельность Довженко военных лет. Всю войну писатель провел на фронте, работал в ежедневной газете Юго-Западного фронта «Красная Армия», принимал активное участие в газете «За Радянську Україну»; кроме того, материалы самых различных жанров за подписью Довженко появлялись в те годы в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Комуніст», «Советская Украина», «Советский патриот», «Литература и искусство», «Литература і мистецтво», в журналах «Большевик», «Красноармеец», «Славяне» и др. (не говоря уже о многочисленных отдельных изданиях его военных произведений на многих языках народов Советского Союза).

Публицистическое наследие Довженко тех лет включает в себя статьи («Великое товарищество», «Душа народная непобедима!», «Украина в огне», «Слава украинскому народу», «В грозный час», «Украинская песня», «Смотрите, люди!», «Я вижу победу» и др.), листовки и обращения («Письмо офицеру немецкой армии», «К полицаям, старостам сел и их помощникам Эсманского, Севского, Хомутовского и Ямпольского районов», «К советскому населению временно оккупированных немцами областей Украины» и др.), выступления на митингах, по радио, перед солдатами и населением.

Чувство советского патриотизма, чувство огромной сыновней любви к матери-Украине, оказавшейся под пятой захватчика, пронизывает всю военную публицистику Довженко. И вместе с тем, в ней полным голосом звучит тема пролетарского интернационализма, дружбы народов. В статье «Великое товарищество», рассказывая о том, как солдатыказахи бились «за сестру свою Украину», как окропили они «вражьей злою кровью» и своей собственной кровью волю Украины, Довженко писал: «Есть у

* В подготовке текста к печати приняла участие В. П. Коршунова.

нас сила, которой нету равной силы в мире. Есть у нас такое богатство. Это — братство советских народов...»

В годы войны Довженко впервые выступил с повествовательной прозой. Им были написаны рассказы «Победа», «Воля к жизни», «Ночь перед боем», «На колючей проволоке», «Мать», «Стой, смерть, остановись!», «Отступник», «Тризна», «Незабываемое». Для военных рассказов Довженко, как и для написанной им в те же годы (1944—1945) киноэпопеи «Повесть пламенных лет», характерен напряженный драматизм, масштабность изображения, высокий героический пафос, глубокая народность и гуманизм.

Огромный интерес для понимания гражданской позиции художника, его эстетических принципов и творческого метода представляют записные книжки Довженко военных лет.

На широком фоне всего большого и разнообразного литературного наследия Довженко военного периода и следует рассматривать его киноповесть «Украина в огне», написанную в 1943 г., но не увидевшую тогда света.

Ключ к пониманию природы и особенностей «Украины в огне» во многом дает нам одно из авторских лирических отступлений в «Зачарованной Десне». Вспоминая, как сгорело во время войны родное его село, Довженко пишет: «Горел и я тогда в том огне, погибал всеми смертями человеческими, звериными, растительными — пылал, как дерево или церковь, качался на виселицах, разлетался в прах и дым от катастрофических взрывов... Из мускулов моих и раздробленных костей варили мыло в Западной Европе в середине XX столетия. Кожа моя шла на переплеты и абажуры для ламп, валялась на дорогах войны, грязная, потоптанная, выутюженная тяжелыми танками последней войны человечества.

Случилось так, что я не удержался однажды и, выкрикивая из пламени боевые лозунги и призывы к лютой мести врагам, громко простонал:

— Больно мне, больно!..

— Чего ты крикнул? — упрекнули меня. — Что привело тебя к этому крику в такое великое время — боль, страх?

— Страдание. Я художник, и воображение всегда составляло мою радость и мое проклятие. Оно внезапно изменило мне. При созерцании лиха мне показалось на одно лишь мгновение, что погибает не село мое, а весь народ. Что может быть ужаснее, простите...» (А. Д о в ж е н к о. Избранное. М., «Искусство», 1957, стр. 440).

Крик боли — вот чем была «Украина в огне». Боли за оскверненную фашистами родную землю — советскую Украину, за тех, кто погибал, отстаивая ее от врага; боли за изломанные судьбы тысяч ее дочерей, таких, как Христя Хуторная, не выдержавших непосильной тяжести свалившихся на слабенькие девичьи плечи физических и нравственных испытаний; боли за тех слабых духом, жалких сыновей ее, которым «в грозный великий час жизни своего народа не хватило (...) ни разума, ни величия души», — спасая свою шкуру, предали они родную землю, стали «отступниками», отцеубийцами; наконец, боли за то, что ходят еще по нашей земле людешки типа Лиманчука, для которых горе народное, горе человеческое — ничто по сравнению с инструкцией...

Да, великая боль пронизывает «Украину в огне» от первой до последней страницы. В этом — секрет огромной впечатляющей силы сценария, в этом же — и определенная его слабость, ибо, «потрясаемый страданиями народа», автор (особенно в первой половине сценария) отдал предпочтение преимущественно мрачным краскам. Впрочем, было бы неправильно не замечать, как это делалось в свое время, и тех высоких, героических страниц, которые есть в киноповести. Вспомним хотя бы сцену освобождения Топольки или с поистине гоголевской силой написанный эпизод боя артиллеристов Кравчины с фашистскими танками и пехотой; вспомним величественную и трагическую фигуру Лаврина Запорожца и светлый, глубоко поэтический образ Олеси; вспомним, наконец, сурово-оптимистический финал сценария... «Украина в огне» — *оптимистическая трагедия*. Но все же *трагедия*. В ней неизмеримо больше боли, чем радости, и даже в героическом пафосе ее слышится отзвук горечи... Довженко отдавал себе в этом отчет — в предисловии к киноповести он предупреждал: «Пусть снисходительный читатель, мой современник и друг, не взыщет, если возвращенное мною небольшое дерево не впол-



А. П. ДОВЖЕНКО

Фотография П. Н. Галочки. 6 ноября 1943 г., на Днепре, по пути в освобожденный Киев
Собрание Ю. И. Солнцевой, Москва

не ветвисто и стройно, если многие ветви только предугадываются, не успев еще вырасти среди невиданных пожаров и катастрофического грома орудий, потрясающих сегодня нашу землю. В моем сознании все здесь написанное — только прозрачная основа будущей книги борьбы моего народа за освобождение из ярма гитлеризма.

Именно так — как подступ к грандиозному эпическому замыслу, как часть широкой панорамы борьбы народа — и следует рассматривать «Украину в огне».

Правда, есть в «Украине в огне» и то, что нам трудно принять, даже если мы будем учитывать особенности ее замысла. Нам не следует закрывать глаза на реальные слабости сценария, тем более что сам Довженко так писал о них в предисловии: «Если в силу остроты переживаний, сомнений или заблуждений сердца какие-либо суждения мои окажутся несвоевременными, или слишком горькими, или недостаточно уравновешенными другими суждениями, то это, возможно, так и есть. Тогда прошу читателя незлобиво поправить меня своим добрым советом».

«Доброго совета», «незлобивой», дружеской критики Довженко не услышал. А услышал тяжкие обвинения в национализме, вдвойне несправедливые оттого, что они были адресованы художнику, для которого тема интернационализма, тема дружбы народов всегда была одной из ведущих тем творчества. Автор «Арсенала» и «Щорса» не мог принять этих обвинений. Дневниковые записи его тех лет проникнуты горечью. Летом 1945 года он писал: «Если нет принципиальной ненависти и нет презрения и

недоброжелательности ни к одному народу в мире, ни к его судьбе, ни к его счастью, ни к достоинству или благосостоянию, так неужели любовь к своему народу — национализм? Или национализм в непопущении глупостям чиновников, холодных деяг или в неумении художника сдерживать слезы, когда народу больно?» (А. Д о в ж е н к о. Зачарованная Десна. М., «Сов. писатель», 1964, стр. 164—165).

«Украина в огне» — произведение сложное, противоречивое. Именно потому оно нуждается в пристальном внимании и в глубоком, объективном исследовании нашей литературной наукой, чему, следует надеяться, будет способствовать нынешняя его публикация. Без этой вещи нельзя понять Довженко.

В фонде А. П. Довженко, находящемся в ЦГАЛИ, «киноповесть» «Украина в огне» имеется в трех последовательных редакциях: 1) ранняя редакция на украинском языке (машинопись); 2) промежуточная редакция на русском языке (машинопись с правкой автора); 3) последняя редакция на русском языке (машинопись с правкой автора). Кроме того, в записных книжках Довженко находятся первоначальные наброски к задуманному сценарию.

Последняя русская редакция является наиболее полной. По сравнению с предшествующим текстом в нее внесен ряд дополнений: углублена и развита характеристика фон Крауза, введены новые эпизоды суда над ним и его казни, эпизод встречи Сиротана с Бесарабихой и другие, дана (в конце сценария) характеристика бойцов батареи Ивана Запорожца.

В бумагах Довженко нет украинского текста сценария, который соответствовал бы полной русской редакции. И хотя в подзаголовке последней значится: «Перевод с украинского», можно думать, что авторская работа над обеими русскими редакциями велась без предварительного написания в точности соответствующего им украинского текста. Уже после завершения работы над русским текстом Довженко начал, по-видимому, готовить на его основе новую украинскую редакцию — в машинописи начало зачеркнуто и вместо него написан новый, более короткий, украинский текст, а на последующих страницах над некоторыми словами вписаны их украинские переводы (например, «множество» — «багато»). Ввиду того, что эта работа оборвалась в самом начале, мы сохраняем в качестве основного русский текст, а новое украинское начало печатаем под строкой в качестве варианта; украинские переводы отдельных слов в настоящей публикации не воспроизводятся.

В публикуемом тексте — как в репликах персонажей, так и в авторской речи — встречаются многочисленные украинизмы («глупак», «не гарикай», «он, ползут», «обценьки»), которые всюду сохраняются; в необходимых случаях к ним под строкой даются переводы на русский язык. Также сохраняется система передачи немецких слов и фраз русскими буквами, притом в характерной для Довженко транскрипции (например, передача немецкого «h» через «г» — «гальт», «гунд» и т. п., — что было связано, очевидно, с тем, что в украинском языке буква «г» обозначает придыхательный звук). Немногие исправления в немецких словах выразились в устранении случайных описок («гундернт» — «гундерт», «гегернт» — «гегерт») и в восстановлении слитного написания некоторых слов (в соответствии с нормами немецкой орфографии: «йа воль» — «йаволь», «вундер бар» — «вундербар» и т. п.). Фразеологические и грамматические отклонения от норм немецкого языка сохраняются, поскольку в тексте Довженко они имеют отчетливо выраженную стилистическую окраску.

Киноповесть «Украина в огне» публикуется (с некоторыми сокращениями) по тексту последней редакции на русском языке (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 138, лл. 1—139). Небольшой отрывок из заключительной части сценария был опубликован самим автором в газете «Литература и искусство» (1943, № 38, 18 сентября) по тексту предпоследней русской редакции, которая в этой части немногим отличается от окончательной редакции. Несколько отрывков из сценария (на украинском языке) было напечатано в газете «Літературна Україна» (1962, № 104, 28 декабря). Украинский текст сценария включен в пятый том Собрания сочинений А. П. Довженко на украинском языке (Київ, изд-во «Дніпро», 1966).

〈От автора〉

Здесь все следы битвы режиссера с писателем. Один звал к строгому профессиональному чертежу сценария, другой, потрясемый страданиями народа, все время порывался к расширению темы, к рассуждениям, лирическим отступлениям — к авторскому участию в громаде великих событий.

Пусть снисходительный читатель, мой современник и друг, не взывает, если взращенное мною небольшое дерево не вполне ветвисто и стройно, если многие ветви только предугадываются, не успев еще вырасти среди невиданных пожаров и катастрофического грома орудий, потрясающих сегодня нашу землю. В моем сознании все здесь написанное — только прозрачная основа будущей книги борьбы моего народа за освобождение из ярма гитлеризма.

Если в силу остроты переживаний, сомнений или заблуждений сердца какие-либо суждения мои окажутся несвоевременными, или слишком горькими, или недостаточно уравновешенными другими суждениями, то это, возможно, так и есть. Тогда прошу читателя незлобиво поправить меня своим добрым советом.

* В тихий летний день, в саду возле хаты, среди цветов и пчел, сидела семья колхозника Лаврина Запорожца и тихо пела: «Ой, піду я до роду гуляти». Это была песня матери, веселая и грустная, как и человеческая жизнь. Мать, Татьяна Запорожчиха, любила петь ее обычно два-три раза в году, когда после трудов и повседневных забот приходилось где-либо по достойному случаю пригубливать чарочку.

Шумит, гудит Тополевка.

К Лаврентию Запорожцу приехали гости.

«Ой, у мене увесь рід багатий. Ой, у мене увесь рід багатий. Сюди-туди, он куди, увесь рід багатий», — пела Татьяна, растроганно покачивая головой в такт своей песне.

Один — Роман Запорожец.

«Сюди-туди, он куди, увесь рід багатий», — поет молодой лейтенант пограничных войск, Роман Запорожец, с орденами на груди.

Другой — Иван воин.

«Буде мене часто частувати. Буде мене часто частувати», — поет, прислонясь к материнскому плечу, артиллерист Иван.

Третий, славный черноморец, — Савка Запорожец.

«Сюди-туди, он куди, часто частувати», — поет с батьком третий Запороженко, Савка-черноморец. А над ним сияет белая борода деда Демиды**, что тоже был когда-то черноморцем, но уже не поет, а только покачивает головой и плачет от глубоких своих слабых лет.

* Над текстом рукой автора вписано: В картине, полной драматизма, сделаем веселое хотя бы начало.

** В подлиннике Демиды исправлено автором на Данила. Однако в последующем тексте (кроме заключительного абзаца сценария) старый Запорожец остался Демидом. Таким образом, начатая правка не была доведена до конца, в связи с чем мы всюду сохраняем первоначальное имя — Демид.

Четвертый, Григорий, — мастер урожая.

Агроном Григорий Запорожец в хорошем штатском костюме. Очки на носу, Знак Почета на груди и колос в руке — знак власти над всем, что растет.

У пятого сына детишки зеленые.

У Трохима Запорожца два хлопчика и одна девочка. Да у жены двое.

И дочка Олеся, всему роду радость.

Тихая, без единого облачка в лице, мастерица цветов и удивительных вышивок и песен. Все цели.

Много мыслей промелькнуло у матери. Вся жизнь словно проплыла перед глазами — и материнское горе, и радость, и волнения, и неустанный труд на многочисленную семью с маленькими детками, на общество, на государство. Но повзростали незаметно дети, разлетелись во все стороны, добрая слава пошла о сыновьях, показавших себя и в военном деле и в науке, и в обычных трудах на земле.

И вот съехались они к родной хате, чтобы почтить ее старость — пятьдесят пять лет! Взволнованная и растроганная этим праздником, песней и всеми плодами своей простой трудовой жизни, взявши чарочку, слегка дрожавшую в ее маленькой сухой руке, посмотрела добрая мать на своих гостей*:

— Спасибо вам, деточки, что увидела вас всех вместе хоть раз за столько лет. Всё некогда да некогда — широкий свет настал. Пошли вам боже счастливую долю да силы в руки, чтоб выполнить свой долг перед миром, чтоб возвеличить землю трудами, чтоб цвела она богатствами и согласием..

— ...Сыночки мои, сыны! Деточки мои! Прощайте, прощайте, родные мои!..

Еще какие-то жалобные слова приговаривала Татьяна вслед сыновьям, но ее уже не слышно. Уже потонули слова ее в море людского плача и скорби, в разлуках, в реве моторов. Множество людей выходило из села на войну.

Оторвался Трохим Запорожец от жены. Плачет жена горькими слезами, плачут дети в ногах — ой, тату, тату! Побежал Трохим за братьями. Повез старый Запорожец пятерых сыновей на войну.

Отъезжают на восток грузовики с множеством старых и молодых запыленных женщин, детей, ветхих дедов и баб, всевозможных тюков, чемоданов и прочих вещей и кое-каких военных или невоенных, кто их знает.

* В рукописи начало текста зачеркнуто и вместо него вписан украинский текст: «Шумить, гуде Тополівка. До Лавріна Запорожця з'їхалися гості,— один Роман Запорожець, другий Іван воїн, третій славний чорноморець Савка Запорожець. Четвертий Григорій, майстер урожаю, у п'ятого сина діточки зелені, жінка уродлива, усмішка весела. Зібралися всі синове матір величати. І шоста Олеся всьому дому радість. У садочку під грушею, в саду під великим горіхом, в прозорий літній день проти неділі отака сім'я зібралась і співає:

«Ой, піду я до роду гуляти...»

Це пісня матері, весела й сумна, як і життя людське. Мати Тетяна не часто співає, — два-три рази на рік, коли після трудів і повсякденних турбот десь по достоїнному случаю доводиться пригублювати чарку. Їй сьогодні п'ятьдесят минуло. П'ятьдесят та ще й п'ять. Її величають — улюблена донька, лейтенант Роман з кордону, Іван з артилерії, Савка з моря відпросився, Григорій з радгоспу, — як не заспівати «Ой, у мене увесь рід багатий».

Зворушена до краю своїм святом і роєм спогадів родинних про минуле, чарочку тримаючи злегка тремтячою рукою, дивиться вона на своїх гостей і промовляє...»

Они оглядываются назад, на запад, в тревоге. Им хочется ехать все быстрее и быстрее.

— А куда ж они ото едут, бодай им добра не было! Чтоб они бежали и не переставали! Да зачем же везут их машинами?

— Может, машины на другое пригодились бы? Тьфу! — гневалась Мотря в огороде.

— Слушайте, почему они не уходят? Вы видите? Они не уходят?

— Ну ясно. Чего ж им бежать? Они ждут немцев.

— Ах! Ну мы еще вернемся! — негодовали на грузовиках уезжающие, глядя с негодованием на селян, связанных тысячетлетними узами с землей.

Но вот начала проходить армия.

Возле холодной криницы под вербою на краю села стояла Олесья, печальная и тихая, как и все девушки в те времена на нашей, на кровавой Украине. Пиля бойцы воду из ведра и уходили на восток.

— Будь здорова, дивчина. Будь счастлива, дивчина... Будь здорова...

Ревут по дороге грузовики без конца и края. В тяжелом унынии оглядываются усталые беженцы. Все, что не ехало с ними, начинало казаться им враждебным. И страх заполнял их души, и затаенное зло, и молчаливое отчаяние.

— А бодай же они ехали да не переставали! Да чтоб они катилися бубном! На кого ж вы нас несчастных покидаете? — перекликалась в огороде Татьяна Запорожчиха с Мотрею, сапая картошку, пока не прострочило Татьяну пулеметом с вражеского самолета.

Горят жита на много километров, горят и топчутся людьми, подводами.

И яровые много дней уже топчутся машинами и тысячами бездомных коней и коров.

Мчатся всадники, оглядываясь назад на черное дымное небо. Ревут аэропланы. Мечут бомбы. Рассыпаются всадники по полю, словно птицы.

Пролетают над Олесей вражеские самолеты. Бомбят дорогу. Всадники парашаются во все стороны. Крик, стон, высокий визг пораненных коней. Страшно Олесе.

Ревут быки и роют рогом землю возле разорванных напарников своих рогатых.

Вражеские самолеты бомбардируют мост. Огромные водяные столбы — один, другой, третий... Катастрофический свист. Попадание! Люди в клочья. Нет моста.

Остановил Запорожец коней. Бросились братья врассыпную, упали. Один Савка остался на подводе с батьком.

— Падай, Савка, ложись!.. Во-оздух!

— А чего бы я падал? Идем на войну да будем от первой бомбы падать! — сказал веселый Савка и упал мертвым. Братья к брату:

— Савка!

А батько:

— Прощайте, прощайте, чуєте! Скорей плавом на тот берег. Во-оздух!..

Кинулись сыновья в Десну.

Ударил старый Запорожец по коням, высочил в поле и понесся житами назад в родную свою Тополевку.

Мчатся кони житами. Припал Запорожец к мертвой сыновьей груди и так затужил, что не помнил, как перехватили фашисты коней.

Выбросили Савку в жито. Дали Лаврину сигарету, сели на воз и поехали, напевая и посмеиваясь, в соседнее село.

Олеся смотрела на дорогу. Она не была заурядной дивчиной. Она была красива и опрятна. Олесею гордилась вся округа. Бывало, после работы, вечерами она, как птица, ну так же много пела возле хаты на все село, так голосно и так прекрасно, как, верно, и не снилось многим припудренным артисткам с орденами. А вышивки Олеси висели на стенах европейских музеев — в Лондоне в музее Альберт-Виктория, в Париже, в Мюнхене и Нью-Йорке, хотя она об этом и не знала. Учила ее мать всему. Была Олеся тонкой, одаренной натурой, тактичной, доброй, работающей и безусловно воспитанной хорошим честным родом. Легкомысленные хлопцы немного стеснялись Олеси, считая ее гордой и неприступной.

Пили бойцы воду и мрачно проходили дальше. Она уже ни о чем не спрашивала их. Она жадно гляделась в каждое лицо и в каждый глазах читала печаль. Огромное, гораздо большее, чем может вместить людская душа, горе упало на народ, придушило его, погнало.

— Будь здорова, дивчина! Будь счастлива! — сказали ей трое усталых артиллеристов и пошли от криницы. На Олесею нахлынула вдруг волна такой острой, болезненной жалости к себе, что у нее нестерпимо защемило в горле. Она оглянулась. Людей стало меньше...

— Последние идут, — подумала Олеся, — неужели последние?

И решила она на шаг неслыханный, невиданный ни в ее селе, ни во всем ее народе. На поступок необычный, от одной мысли о котором у нее застыло и остановилось сердце. На поступок грозный, какой подсказало ей грозное и необычное время. Что бросило ее на этот поступок? Что толкнуло ее?

Глубокий инстинкт рода, что приходит людям на помощь в роковые часы, когда разум холодеет и не успевает осознать опасность, и спросить, некого, и грозный час летит лавиной с горы.

К Олесе подошел один из последних бойцов, танкист Василь Кравчина, из-под самого Каменца, и жадно припал к ведру. Одежда в пыли. На рукаве и на спине прогорела сорочка в пожарах. Темные здоровые руки, ручьями пот на щеке и висках, и та же напряженная на лбу не по летам морщина.

— Спасибо, дивчина. Прощай, — промолвил он, отрываясь от ведра.

— Счастливый путь!.. Пстой! Слушай! — сказала Олеся тихо, смотря на танкиста глубокими печальными глазами. — Я тебя о чем-то попрошу...

— Что меня просить? — взглянул на нее танкист, и необычайный взгляд Олеси привлек его внимание.

— Слушай, — сказала Олеся, — переночуй со мной. Уже наступает ночь... Если можно, слышишь?

Она поставила ведро и подошла к нему.

— Я дивчина. Я знаю, придут немцы завтра или послезавтра, замучат меня, надругаются надо мной. Я так боюсь этого. Попрошу тебя... пусть будешь ты... Переночуй со мной...

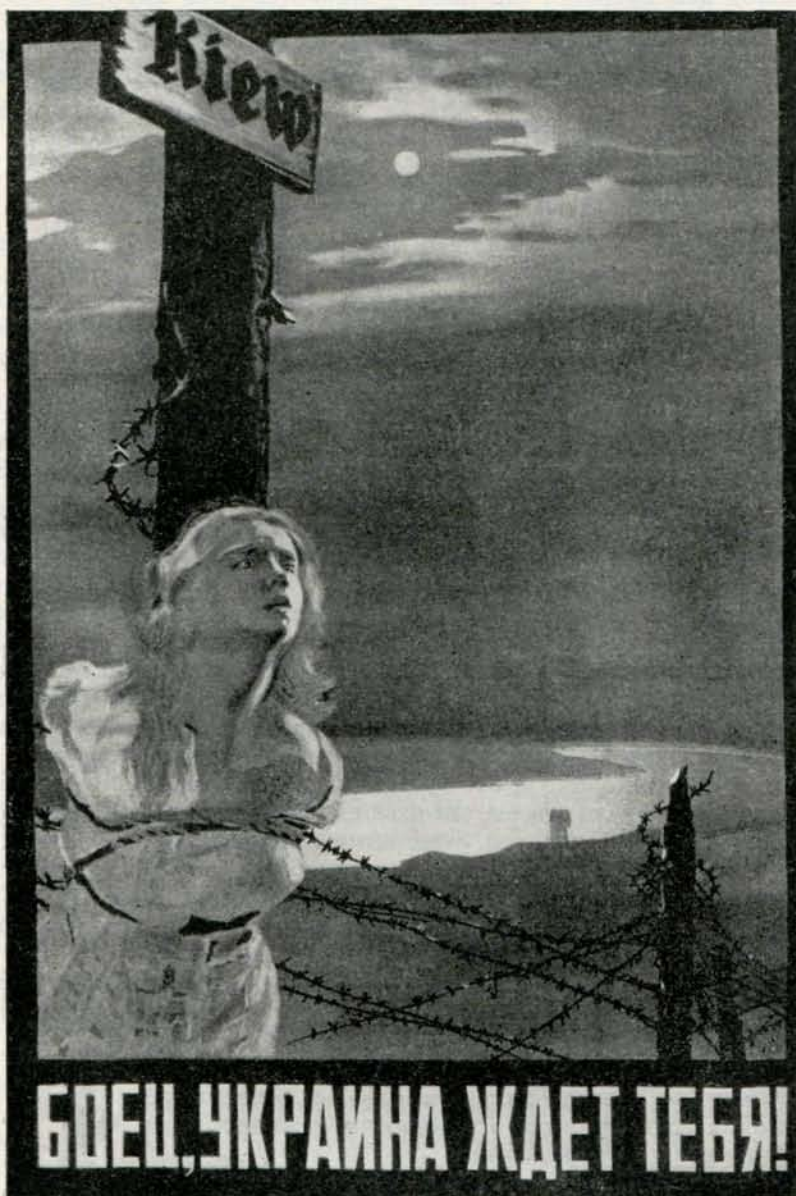
С последними словами Олесин голос затрепетал и словно погас.

— Я не могу ночевать с тобой, — сказал Кравчина открыто и честно. — Я в танке горел вчера. И танк этот я бросил.

— Ты наш...

— Я отступаю... Бегу... Броня тонка... Я покидаю тебя. Пойми мой стыд. Я не герой.

— Ты несчастный... и я несчастная. Пойми ж и ты меня. Смотри, что делается. Останься, правда... На память...



«БОЕЦ, УКРАИНА ЖДЕТ ТЕБЯ!»

Плакат Н. Н. Жукова и В. С. Климашина. «Искусство», М., 1943

Центральный музей Вооруженных Сил СССР, Москва

Олеся смогла на него с таким доверием, с такою болючею мольбой, что он умолк и не сводил с нее глаз. Он смотрел на нее, чужую, неизвестную, случайную, чтобы никогда уже потом ни на одну минуту, нигде не забыть ее, чтобы понести ее, эту дивчину, в своем сердце через все бои, через все огни.

— Ну, что же... Ну, добре...

— Вот моя хата.

— А где твой батько? — вдруг вспомнил он.

— Батько братьев повез, а мать ранена, в больнице. Я одна.

Какую-то минуту они стояли в полумраке хаты друг перед другом, молча, не зная куда ступить. Они были невинные, нетронутые оба.

— Сядь, посиди за моим столом, — тихо сказала Олеся и взяла его обеими руками за руку. — Съешь что-нибудь. Ну хоть немного... может помоешься с дороги?

Она подала ему чистое полотенце. Василь скинул сорочку и стал мыться над корытом. Олеся поливала ему холодную воду на руки, потом на голову. Он закрыл глаза. Он чувствовал, как с него сплывала дорожная пыль и пот. Потом он разулся и, хорошо помыв ноги, присел на лавку к столу. Какой-то волнующий стыд все же сковывал и не покидал его, а ее как будто бы нет. Она и стыдилась, и нет. Она приносила ему на стол тарелки с едой. Она словно выполняла свой, одной лишь ей начертанный закон.

Они что-то ели вдвоем и избегали угадывать желание в глазах друг у друга. Да и было ль оно? Они говорили о том, о сем, стесняясь молчания. Изредка, когда обрывалась нить разговора, они встречались глазами, и тогда они переставали дышать и жевать пищу. Они точно каменели оба, всматриваясь один в другого до дна. А когда вот так им стало нечем однажды дышать, Олеся застонала вся и прижала ладони к груди.

— Ой, боже мой!.. Что ж это будет с нами?

Когда в хате стемнело совсем, она отважилась первая. Подошла к постели и долго-долго молча стлала ее. Она вынимала из материнского сундука чистые, новые рядна, наволочки и полотенца. Положила две подушки рядом, задумавшись на миг, и принесла со двора цветков.

Тихо было в хате. Только далеко где-то грохали тяжелые орудия, да изредка тарахтел в небе далекий чужой самолет.

— Не гляди на меня, — попросила Олеся и, тяжело вздыхая, надела новую сорочку.

Василь слышал, как стучало его сердце.

— Как у меня бьется сердце...

— И у меня, — сказала тихо Олеся, — ой... иди сюда.

Она стояла возле постели в длинной мереженной сорочке.

Месяц освещал ее через окно.

— Как тебя зовут?

— Василь.

— А меня Олена. Дай руку.

Она прижала его руку к своему сердцу.

— Я никогда тебя не забуду, — сказала она грустно и строго поцеловала Василя в щеку коротким, холодным, словно детским, поцелуем. — Скажи и ты эти слова...

Василь повторил слова, и сам не узнал своего голоса, такой он стал низкий и необычный. Василь прозвучал весь, всем своим естеством, как звучание колокола.

Вдруг задребезжали стекла. Низко, над самой хатой, взревела страшным ревом большая стая вражеских самолетов. Загремели бомбы на дороге за селом.

— Прощайте! — доносился откуда-то издали голос парубка.

— Ой, деточки мои, деточки!.. — жалобно голосила над дорогой разлука...

Они долго лежали молча, прислушиваясь невольно к крикам. Потом Олеся рассказала Василию, что это плачет ее тетка Мотря, у которой взяли в армию уже четверых сыновей.

— А это уже пятый прощается, Иван, последний.

— Так, — вздохнул Василь, — как хорошо ты пахнешь мятой.

— А ты, когда дышишь, пахнешь огурцами, огуречным листом.

— И ты...

— И ты, — прощентала Олеся.

Кто-то стучался в дверь соседней хаты.

— Кто там? — послышался глухой голос.

— Это мы, батько, мы! — стонут сыновья под деревьями.

Приоткрылась дверь. На пороге пожилой человек — Куприян Хуторный.

— Защитники отечества?

— Все пропало, тато, пустите!

— Не пушу! Я царя защищал, не отступал, а вы свою власть отстоять не можете.

— Броня тонка, тато!

— Брешете, дезертиры!

И Хуторный захлопнул дверь.

Упал один сын под окном и начал громко рыдать.

А другой:

— У нас, тату, генерал пропал! Застрелился, бодай его сыра земля не приняла! Растерялись мы.

— Идите к полковнику!

— Не знаем, где он, чёрт бы его душу забрал нехай!

— Идите, догоняйте.

— Мосты, тату, взорваны. Плавать не умеем.

Они всматривались друг в друга широко раскрытыми глазами:

— Так тебя зовут Василь?

— Так.

— Василь... Василик. А я Олена. Поцелуй меня, Василик. Я так счастлива.

— А чего ты плачешь?

— Нет, я не плачу. Мне так хорошо.

— Родная моя, чего же ты плачешь?

— Это же ты плачешь, Василику. Ты не забудешь меня?

Пылали поля и села на темном небосклоне. Брели по темному полю бездомные стада. Какие-то всадники пролетали темными шляхами.

Проклятые люди падали на парашютах в рожь. Что-то кричало в житах.

Да одинокая орденоноска плакала с детьми на дороге над убитой коровой.

Они верили и не верили, что они уже муж и жена.

— Знаешь, Василику, — шептала Олеся, наклоняясь над его лицом, —

если бы мы жили, если бы случилось так, что мы будем жить вдвоем, мы никогда во всю нашу жизнь не скажем друг другу плохого слова. Правда?

— Правда.

— Мы даже не подумаем злого. Правда?

— Правда.

— Правда?

— Правда.

— Мы будем так дружно жить, как никто на свете. Правда?

— Так.

— Ты не забудешь меня?

— Нет.

— Ты найдешь, отвоюешь меня?

— Найду, отвоюю тебя.

Словно сошлись столетия простой народной любви, что сеет детей на нашей плодородной земле. Сошлись столетия горьких прощаний украинской дивчины — жены, воспетой в горестных песнях народа.

Начало светать. Помягчали тени в хате, и разлука уже протирала глаза где-то там, в сенях за дверьми.

— Говори мне, Василику, еще красивые слова, говори, — припадала Олеся к плечу Василя. — Уже кончается ночь. Уже скоро прощаться пора.

— Слушай, Олеся...

Долго говорили они на рассвете. Они словно выросли оба за эту ночь. А неумолимая неизбежность разлуки освещала особенным светом их чувства. Перед ними в эту ночь будто раскрылось новое видение вещей, печальное, но ясное и отчетливое, и ясными и четкими были его, Василевы, слова, каких он никогда и не думал в себе найти.

— Нет, я не забуду тебя, Олеся. Не забуду никогда ни тебя, ни твоей хаты, ни криницы под вербою... Какая бы ты ни была, я вернусь к тебе. Пусть будешь ты черная и больная, покалеченная врагом, пусть поседешь ты от горя и слез и побелеет твоя коса, пусть будешь ты рыть против меня немецкие рвы и плести немецкую колючую проволоку против меня и сеять для врага хлеб под плетями, ты всегда останешься для меня прекрасной, как и сейчас прекрасна ты. Если ж в отчаянии ты станешь проклинать меня и всех, что покинули тебя и мертвыми не пали у Днепра, простил я тебе заранее, — такая наша доля, — и ты меня прости, — сказал взволнованно Василь, удивляясь своим необычайным словам.

— Прощаю, — сказала Олеся, — только найди меня.

— Найду, — сказал Василь, прижимая ее к себе своими сильными большими руками. — Если же так станется, что не найду, может убьют меня, Олеся, или взорвусь я где-нибудь на фугасах и разлечусь клочьями по полю, так что и костей моих не соберут для могилы, я все равно вернусь к тебе. Я памятником стану в твоем селе из бронзы, там вот за окном! Я понял — дорога к тебе одна, один только путь. Путь героизма. Нужно быть героем и ненавидеть врага.

— Олеся, — сказал Василь, немного подумав, — какой же непогребно млявый вошел я вчера в твою хату.

— Я тебя простила.

— Вижу. По великости женской души своей. Ты, Олеся, открыла мне мир.

Они разлучились рано-рано утром, до восхода солнца, в холодной росе, у перелаза за садом.

Немцы входили в село, въезжали на мотоциклах, автомобилях, на пушках, на танках, веселые и довольные. Обожженные солнцем, запылен-

ные, мокрые от пота лица их блистали радостью и здоровьем. Играли на губных гармошках, окаринах и треугольничках что-то немецкое.

Немало солдат шло совсем без оружия, обнявшись парами, тройками, и весело посвистывали. Но большинство ело что попало: огурцы, яблоки, груши, сливы, хлеб.

— Здравствуй, matka! Карашо! — кричал белокурый, увидев хозяйку в окне.

Люди смотрели в окна.

— Смотри, смеются! — показывала одна женщина другой.

— Глянь, какие приветливенькие! Смеются и здравствуйте кажут!.. Ай!..

Солдат распахнул дверь ударом сапога и вошел в хату:

— Здравствуй, matka! Молока, пожалуйста!

Режут свинью.

Другую.

Третью. — Хайль, Гитлер!!!

Высаживают дверь в сених.

Осторожно открывают дверь в хату.

— Позвольте. Ферцайен бите, можно?

Пьют молоко.

Едят.

— Скажи, matka, ты за кого — за Гитлера или за Сталина? — спросил пожилую женщину солдат, оторвавшись от большого кувшина с молоком. Молодое лицо его было приветливым и кротким.

— Как хотите, голубчику, убейте меня, только мне Сталин лучше, сказала простодушная женщина.

— Очень карош! — сказал усмехаясь немец. Допив молоко, он вынул из кармана револьвер и, между прочим, застрелил беднягу.

— Прошу помыть, — сказал веселый голый немец, бросая женщине свою одежду.

— Не буду мыть, пусть тебя несчастье обмоет, бесстыдный... Тьфу! — не выдержала оскорбленная женщина и схватила кочергу.

Бросил и другой немец одежду. А первый уже протянул руку к парабеллуму.

— Мамо, молчите, убьет, мамо! — бросился к матери сын ее, дезертир. — Простите, господа... Мойте, мамо!

— Ой, чтоб же я тебя, мой сыночку, да на лавку обмыла... — заголосоила мать.

— Тату, корову повели со двора! — вбежала в хату дивчина Христя.

— Ну что ж, — сказал Куприян Хуторный. — Это вам не свои. Раз уже нас завоевали, их право. Еще не то будет, — глянул он в сторону сыновей. — Еще и вас погонят, как быков на бойню. Будете вы еще пороть один другого да стрелять, раз не умели уважать отечества. Будет еще вас и по Немеччинах и по Туреччинах.

— А выдумывайте! — мотнул с досады головою дезертир Павло и выскочил из сеней.

Вдоль огорода переулком бежал перепуганный насмерть дезертир Гаркавенко Иван, а за Иваном немцы:

— Гальт! Гальт! — да давай стрелять.

Иван за угол. Из-за угла Павло.

— Куда?

— Тикай, убивают!

— Куда?

Поймали немцы обоих. Автоматы в живот, да по мордам.

— Вы кто? Дезертиры?

— Дезертиры...



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ».

Центральная Украинская студия кинохроники, октябрь 1943 г.

«На широких просторах запылали наши города и села <...> Черный дым поднялся над нашей землей к самому небу, как грозный клич к мести — кто его забудет?»*

— Шпионы? Да?

— Да.

— Вы разведчики? Говорите, разведчики, да?

— Да!.. Нет... Разведчики... да... — лепетали перепуганные хлопцы, повторяя окончания вопросов.

Наглые немцы крепко их набили и поставили стеречь орудия, давши им винтовки.

Олеся сидела неподвижно и смотрела на подушку, на след Василевой головы. Она была каменной. Когда на пороге появился батько Лаврин Запорожец, она не услышала. И только когда он позвал ее, она словно очнулась и упала на пол.

— Тату!!!

В Киеве пировало офицерство Адольфа Гитлера. Сам гауляйтер Кох прилетел в столицу Украины для декларации имперских гордых целей в этой богатой и щедрой стране.

Свою речь новый черный атаман Украины Эрих Кох начал без вступления, с самой высокой ноты. Это была слава Гитлеру, слава нации, слава могучему фашистскому солдатству, несущему старую императорицу-смерть «вялому никчемному славянству».

Смерть славянству, смерть большевизму, демократической распущенности претенциозных меньшинств. Смерть еврейству!

* Эта и все остальные цитаты под кинокадрами взяты из дикторского текста А. П. Довженко к документальным фильмам: «Битва за нашу советскую Украину» (1943) и «Победа на правобережной Украине и изгнание немецких захватчиков за пределы украинских советских земель» (1945).

Офицерские души не выдержали пафоса тотальных призывов. Они взрывались в тевтонских грудях и раздирали горло грозными криками.

Крики доходили до стога и хрипа. Страстное немецкое воинство выговаривало свой восторг в таком динамичном пароксизме, что великий реконструктор восточной Европы Эрих Кох утонул в крике. Его слов нельзя уже было разобрать.

— Хайль! Хайль! Хайль!

Еще минута, и Кох начал лаять.

Все радиостанции — Берлин, Киев, Братислава, Прага, Париж, Будапешт, Рим, Токио — разносили по всему миру немецкую речь Эриха Коха, чтобы знало все солдатство, все немцы, немецкие друзья, вассалы и рабы, какие перспективы открылись перед солдатством на Украине. Сорок пять гектаров на душу! Вот что значит идти вперед, когда тебя ведет Гитлер!

— На безграничных просторах Украины, которой я управляю по поручению фюрера, есть земля для всех солдат. Здесь на Украине есть место для каждого, кто пожелает! Вы знаете о неизмеримых богатствах этого края! Вы можете мне поверить, что я извлеку из этой страны всё. Я вытяну из нее последнее, чтобы только обеспечить всех вас и ваших родных... Хайль Гитлер!

— Хайль! Хайль! Хайль! — раздается победный рев над памятником Владимира в Киеве, над Богданом Хмельницким, над виселицами у Днепра.

После речи Коха офицерство бросилось есть и пить.

— Эту землю можно есть! На! Я хочу смотреть на тебя, сын мой, как на символ своего бытия здесь!



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ...»

Центральная студия документальных фильмов и Украинская студия кинохроники, май 1945 г.
«...святыне киевской, разрушенной фашистами, Печерской древней лавры глядели со своих золотых обломков на темную воду великой славянской реки».

Эрнст фон Крауз, старый полковник немецкой разведки, протянул своему сыну, лейтенанту Людвигу Краузу, горсть земли. Людвиг стиснул землю в кулаке и лизнул ее языком. Это был чистокровный гитлеровский пес последней формации, жестокий и алчный мерзавец, герой виселиц, массовых сожжений, насилий, рабства. Невежественный, темный, он приводил нередко в замешательство даже старого немецкого волка, отца, своей отчаянной решительностью и изобретательностью в расправах с врагом. Иногда старый фон Крауз ужасался своего отпрыска, но отцовская немецкая сентиментальность и давняя алчность мечтателя завоеваний успокаивали его и радовали. Он презирал Гитлера, но признавал его. Разве не Гитлер с миллионами этих белокурых сорванцов Людвигов привел его на Украину?

— Украина! Украина! — хрипел Людвиг, оглядываясь на все стороны. Глаза его светились восторгом.

Они стояли среди поля в побитой ржи. На дороге стоял их авто.

— О, страшная земля... — задумался вдруг старый Крауз.

— Фатер! — крикнул Людвиг.

— Не горячись. Ты думаешь, уже все кончено? Не так просто. Это народ...

— Мы уничтожим его!

— Мой мальчик, я удирал от них в подштаниках в восемнадцатом году!

— Время другое, фатер!

— Время другое, а народ тот же. Я изучил его историю. Их жизнеспособность и пренебрежение к смерти безграничны.

— О!

Они шли по полю.

— Пусть наши идиоты врут в газетах какие угодно небывлицы об их тупости и скотском отношении к смерти, мы с тобой должны знать правду.

— Хайль, Гитлер!

— Людвиг, не выкрикивай эту глупость, хоть когда мы одни.

— Фатер, наш фюрер, наш нацизм учит нас...

— Мальчик, нацизм не имеет серьезного значения, поскольку у нацистов, знай это, нет фактически никаких идей. Это слепая сила, что-то вроде необычайной грозовой тучи. Это слепое чудо, неслыханный казус европейской глупой политики. Ты понимаешь? И для нас, разумных немцев, вся эта удивительная ситуация сводится фактически к умению использовать чудо. Франция, Бельгия, Голландия — все, что нацисты завоевали, — глупости, мыльные пузыри... Вот! — выкрикнул Крауз, ткнув пальцем вниз. — Вот наше! Здесь мы должны умереть, подохнуть, но...

— Хайль!

— Людвиг!

— Фатер...

— Ты думаешь, они уже уничтожены?

— Йа!

— О!.. Нет... Так не подчиняться и так умирать, как умирают они, украинцы, могут лишь люди высокой марки. Когда я смотрю на их смерть, я всегда дрожу от ужаса... Смотри, — сказал старый Крауз, оборачиваясь. Они проезжали через село, где на площади солдаты вешали людей.

— Гальт! — крикнул Эрнст фон Крауз. Машина стала. Палачи, тащившие на виселицу старого пасечника Запорожца, застыли перед фон Краузом, подошедшим к виселице.

— Хайль, Гитлер!

— Хайль, Гитлер!

— Бандиты?

— Йаволь, гер полковник! Его пчелы закусали насмерть четырех наших солдат.

— Да? О швайнрай! Смотри, Людвиг, он надевает на себя петлю,— сказал фон Крауз.

— Фатер... Дас ист унмеглих!

— А-а!.. Слушай!..— обратился фон Крауз к старому Запорожцу.— Этот офицер хочет узнать, что ты думаешь перед смертью?

— Мир сдурел, так и пчелы подурели. Начали всякое дерьмо кусать,— сказал Демид.— А думаю я, что поганые ваши дела, раз вы уже боитесь таких, как я. Дело ваше проиграно.

— Но я стою на твоей территории и вешаю тебя,— сказал Крауз.

— Ну что ж, повесишь да и побежишь. Такая твоя слава!.. Знаю я про тебя одну приметку...

— Ну?

— Ну, не скажу.

— Скажи, я подарю тебе жизнь. Я осыплю тебя деньгами.

— Иди, хай тебя болячками обсыплет. Иди, не заслоняй мне села, глупак.

— Слышал? — обернулся побледневший фон Крауз к своему сыну.

— Фатер! Я начинаю тебя понимать. Это страшно,— прошептал Людвиг, болезненно улыбаясь.

— А, посіпаки!* Потянулись, чтоб вам добра не было! — закричал вдруг старый Демид Запорожец, увидев проходившую мимо него большую группу военнопленных окруженцев.— Не успела война начаться, уже сдались, побросали оружие! Уже ползете в неволю, а враг с бабами гуляет... Вешайте меня, душегубы! Чтоб хоть не видели мои старые очи...

— Фатер, что он говорит?

— Вешай, злодоя! Чего испугался?!

Эрнст фон Крауз махнул рукой и отвернулся. Людвиг смотрел на висилицу ошеломленный.

— О, фатер! — оглядывался Людвиг. Они снова ехали в машине.

— Их нельзя покорить. Их нужно уничтожить. «Не передошивши пчел — не есть меду»,— сказал их король Данило в XIII столетии.

— О!

— Но, Людвиг, ты должен знать, у этого народа есть ничем и никогда не прикрытая ахиллесова пята. Эти люди абсолютно лишены умения прощать друг другу разногласия даже во имя интересов общих, высоких. У них нет государственного инстинкта... Ты знаешь, они не изучают истории. Удивительно. Они уже двадцать пять лет живут негативными лозунгами отрицания бога, собственности, семьи, дружбы! У них от слова нация осталось только прилагательное. У них нет вечных истин. Поэтому среди них так много изменников... Вот ключ к ларцу, где спрятана их гибель. Нам незачем уничтожать их всех. Ты знаешь, если мы с тобой будем умны, они сами уничтожат друг друга.

— Йа, фатер! Мы будем уничтожать их, лишь поскольку каждый солдат должен убить врага и лишить чести его жену. Я понял тебя. Дальше они сами будут уничтожать друг друга! Я разделю их, куплю, развращу!

— Я вижу, мальчик, тебя кой-чему научили. Их нужно разгромить, пока они не опомнились от своих ошибок. Но если не успеем,— мы пропали.

— Фатер! Я их вооружу! Я дам одному брату оружие, другому — нет. И вот они враги до смерти!

* приспешники, прихлебатели (укр., презрит.).

У колхозника Куприяна Хуторного в старой плетеной клуне собрались товарищи Куприяновых сыновей Николая и Павла, соседи и прочий люд, не нашедший в себе силы пройти мимо родных хат. Бросив великое товарищество, они приплелись домой на горе отцам и себе. Клуна превратилась в своеобразный клуб загубленных душ. Тут пила водка, игралось в карты, проклиналась судьба и всё на свете. Но ничто уже никому не помогало.

Тоска и мрачное отчаяние повисли над людьми в сумерках клуны.

— Ай-ай-ай, что ж это мы наделали, товарищи!

— Ай!..

— Как же оно случилось, скажите мне?

— На, выпей!

— Не хочу. Оставь... Вернутся наши, постреляют, как собак.

— Э! Жди теперь наших.

— Куда там.

— А может?..

— Нет. Прощало всё.

— Вернутся.

— Нет.

— Не вернутся?

— Не, куды твое дело. Глянь.

— Ну и что ж это будет? На!

— Не хочу. От пью и не пьянею. Закусываю, а всё как трава. Всё одинаково. Всё!

— Он, ползут. Ай-ай-ай. Он!

— Ты смотри... твою мать, нехай! Он!

— Рабы...

— Кто?

— Мы. Вот побьют в городах жидов, да и за нас возьмутся.

— О, будете еще вы сами один одного бить, — вмешался в разговор старый Куприян.

— Ну?

— Побачите.

— Я слышал, что земля буде индивидуальна, наша.

— Земля наша, да мы уже не наши.

— А чего? Говорят, теперь Украина будет самостоятельная.

— Украина какая-нибудь да будет, а вот вас не будет. Раздвоились дурноголовые. Узнаете теперь, — сказал Куприян.

— Так что ж его делать?

— Догоняйте армию. Может, не поздно еще.

Вдруг открылись ворота, и в клуню вбежала перепуганная Куприянова дочка Христа.

— Тато, Павло в полиции! Уже с винтовкою!

— Павло?

— Вон идет, смотрите!

Куприян Хуторной словно окаменел. Переполошились и остальные.

— Смотрите! Павло и Гаркавый Иван!

Павло с Иваном вошли в клуню с немецкими винтовками в руках.

— Здравствуй, полицейский! Мое почтение! — усмехнулся Куприян, словно выпив чарку горькой отравы.

— Я не полицейский. Я охрана порядка, — промолвил Павло новые чужие слова.

— Порядок? Какого порядка? Кого охранять и от кого? Ты, сукин ты сын, нехай! Шут! — Куприян бросился к сыну с кулаками.

— Стойте! — закрылся немецкою винтовкою Павло.

— Тату! — кинулась к отцу Христа.

— Ну довольно, батько,— вмешался и старший сын Николай. Он был ранен в руку и очень страдал.

— Не прикасайтесь к этому оружию! — крикнул не своим голосом Павло, испуганный неожиданным поворотом дела.

Куприян всматривался в Павла, и тяжелый отцовский гнев поднимался в его душе.

— Аа! Священное оружие. Неприкосновенное. Гитлерово... А <...> где то оружие, на которое я тратил свой труд столько лет? Где, я тебя спрашиваю?

— Ну, тато, успокойтесь, тато! — снова кинулась к отцу Христя.

— Да не очень там разглагольствуйте, дядько! — гудели дезертиры.

— Подумаешь, воин!

— Броня тонка, дядько! Тонкая бронь!

— Пошел бы попробовал!

— Пробовал. Царя защищал, не бежал! — вскочил Куприян. — Кому ты присягал? — обернулся он к Павлу.

— Теперь бога нет! — крикнул один дезертир.

— Брешете, есть! Отечество!

— Так про это ж разговор не был. Обучали классам. Опять же все побежали,— оправдывался Павло.

— А ты почему не побежал? Чего ты сюда приплелся, сукин ты сын, нехай! Охранять немцев от батька и брата? Николай! — обратился Куприян к старшему сыну.— Вот твой сторож. Берегись! Сторож-брат — это тебе не шутка.

— Я не хотел этого... — продолжал оправдываться Павло.

— Так зачем взял? — спросила Христя.

— Они силою дали мне под страхом смерти.

— Морды понабивали! — поддержал Иван Гаркавенко.

— Ага, испугался. Под страхом смерти оружие кинул. Под страхом смерти за гитлерово взялся. Так!.. Вот обучили! Когда ж это видно, чтоб у Хуторных был страх смерти? Чтоб Хуторные боялись крови? Чтоб...

— Дайте мне сказать!

— Говори.

— Сначала у меня была думка отказаться и умереть.

— Ну?

— А потом я подумал: кто-то его да возьмет. Раз уже так случилось, раз уже свет переменился, кому-то ж, видно, надо это оружие брать, будь оно проклято, нехай!

— Так. Так ты первый за него вцепился? Первый полицай фашизма Павло Хуторный! О срамота!

— Не дразните меня, батько!

— Павло!

— Помни, сын, не пролил ты крови врага в грозную лихую годину, прольешь батькову и братову прольешь!

— Ну довольно, дядько!

— Куприян Михайлович!

— Да хватит вам. Как-то оно обойдется. Живут же люди... — утешали старика молодые.

— Бросай оружие! — вспыхнул Куприян и неожиданно схватил за ствол винтовки. Вдруг прогремел выстрел, и смертельно раненный Куприян упал с тяжелым стоном на пол.

— Гальт! Руки вверх! Выходи! — крикнул немецкий ефрейтор, появившись на пороге как раз в момент выстрела.

— Тикай, Микола, тикай! — крикнул Куприян.

Христя бросилась к своему несчастному отцу.

— Доню... Дивчинка несчастна моя. Вот наша слава. Наша судьба...

Сбив с ног ефрейтора ударом кулака, Микола выскочил из клуни и бросился бежать огородами. За ним побежало трое дезертиров, сидевших отдельной компанией под клуней на колодках. Они слышали выстрел и крики и побежали за Миколом, не разобравшись хорошо, что случилось. Вслед им прозвучало несколько выстрелов.

Пробежав через огороды, гречку, поля подсолнечника к самому почти лесу за глубоким яром, беглецы стали, оглянувшись.

- Что ж его нам теперь делать?
- Бежим в лес! Кажуть, там собираются партизаны!
- А может... Ай-ай-ай! Глянь.
- Он уже бегут, гляньте! Он-он-он! Гонятся!
- Да нет?
- Они, ей-богу, они... Миколай! Будь ты неладно!
- А, вернемся домой. Чего мы тут стоим, ей-богу?
- А что? Разве мы что? Ну стоим.
- Да мы ж ничего.
- А чего бежал?
- Да кто его знает? Побежал, ну и бежал. А ты чего?
- Ну и я так... Миколай!

Микола оглянулся. Товарищи стояли далеко позади в нерешительности.

- Гей, хлопцы! Не останавливайтесь!
- Га?
- Не останавливайтесь!
- Да мы, пожалуй, домой вернемся! Чего, правда, бегать?
- Разве мы что?
- Да мы ж ничего.
- Не стойте!
- Нет, Миколай! Остаемся!.. А правда, ну куда его бежать?
- И чего, спрашивается?
- Га?.. Или как вы, хлопцы?
- Да проживем как-нибудь!
- Поживем увидим... поживем так!
- Не поживете! Не будет мира!— звал Микола хлопцев.— Будете плакать да в ярах землю пахать! Погонят вас в неволю! Да постреляете один другого, как Павло батька! Товарищи!..
- Га?.. Пойдем, довольно...
- Мира захотели? Не будет вам мира. Не будет!
- Довольно пугать!.. Пошли?
- Подождите... Га!!!
- Ой, висеть вам на фашистских виселицах, да уже не вернется доля!

Прощайте!

Долго смотрели хлопцы вслед Миколою. Кто его знает — идти или не идти. Задумались они, опустивши головы, и решили, очевидно, не идти.

В грозный великий час жизни своего народа не хватило у них ни разума, ни величия души. Под давлением тяжчайших обстоятельств не отошли они на восток с великим своим товариществом, которому впоследствии было суждено удивить мир своими подвигами. Привыкшие к типичной безответственности, не ведающие торжественности запрета и призыва, вялые натуры их не поднялись к высотам понимания хода истории, призывающей их к гигантскому бою, к необычайному. И никто не стал им в пример — ни славные прадеды истории их, великие воины, ибо не учили их истории, ни близкие родные герои революции, ибо не умели чтить их память в селе. Среди первых ударов судьбы потеряли они присягу свою, так как слово священное не говорило им почти ничего. Они были духовно безоруж-



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКВЮ УКРАИНУ...»

Центральная Украинская студия кинохроники, октябрь 1943 г.

«...Упала осень. Пошли дожди. Степи гневом засеялись. И слышали люди по ночам, как стонала от горя земля и плакали вдовы»

ными, наивными и близорукими. Суровая действительность скоро раскрыла им глаза. Широко в последний раз раскрылись они, всё увидели, да было уже поздно. Повисли хлопцы на немецких виселицах рядышком, как стояли, на площади в своем обездоленном селе.

А вешатели с Людвигом Краузом, смеясь и шутя, готовили уже виселицу и для всей компании, присутствовавшей в клуне при убийстве Куприяна Хуторного.

Людвиг был счастлив. Он действовал.

Уже вели побитых дезертиров и окруженцев в синяках. Уже лупили их конвоиры по чем попало, на ходу.

— Ну, собака, пропадешь же и ты! Ай! Пропадешь, отцеубийца!

— Иди, иди! — огрызнулся Павло. Отцеубийца был уже в числе конвоиров.

— Ух ты, Иуда!

— Я не убивал. Не мучьте меня. Они сами на пулю напоролись.

— Га! А мы сами на виселицу идем? Из-за тебя, сукин сын!

— Я не знаю. Я не судья вам. Я сторож, мне приказано. Что я буду делать?!

— Рус! Замолчать, свинья! — гаркнул немецкий ефрейтор и еще раз хватил беднягу по спине.

Лаврин Запорожец быстро вошел в хату.

— Тато, идите на собрание, они убьют вас! — промолвила Олеся.

— Оставь меня! — грозно приказал Запорожец.

Олеся закрыла дверь. Упавши на лежанку в сенях, она горько затужила.

Оставшись один, Запорожец снял со стены портрет Сталина.

— Прощайте, товарищ. Не думали мы с вами, что так выйдет, да вышло... не малою, большою кровью, на <своей> территории, — тихо сказал он, обращаясь к портрету. — Что будет с народом нашим? Выживет он или сгинет, так что и следа не останется на земле? Разгонят его по каторгам да по лесам, оврагам да гнилым болотам, как волков-сиромых, да натравят друг на друга так, что живые позавидуют мертвым. Горе нам... Народ бес- смертен, говорили вы, товарищ мой. Ох, тяжелое наше бессмертие.

Кто-то постучался у улицы.

— Прощайте, идут. — Лаврин поворотил портрет и поставил на пол.

— Иду!

Лаврин вышел в сени.

— Тато! — кинулась к нему Олеся.

— Прощай, доня, — тихо промолвил Лаврин и вышел.

— Что это за аморальная область? — блеснул хищным глазом полковник фон Крауз, глядя на селян, стоявших перед ним на площади. — Бегут старосты в партизанские банды. Бегут начальники полиции. Тут банда дезертиров нападает на полицейского Павла Хуторного и тоже бежит в лес. Я честный немец, отец, вынужден банду вешать! Вас ист дас?

Лаврин слушал эту речь и внутренне готовился принять смерть достойно и просто, чтоб не просить ни о чем завоевателей. Смерть Савки и старого отца Демида и тяжелое ранение жены тяжело придавили Лаврина.

— Я знаю, ваши уши находятся в Лондоне, а сердца в Москве! — говорил фон Крауз. — Но не забывайте, что ваши спины находятся на Украине и ваши виселицы также. Я приказываю в последний раз выбрать старосту. Называйте кандидата. Ну, бите!

— Нет у нас такого!

— Фойеррр! — крикнул Людвиг Крауз.

Загрохотали пулеметы, засвистали пули над головами и вдруг стихли.

— Нема. Не годимся в старосты!

— Фойер! — еще раз скомандовал Людвиг.

Село стояло в воде под старой мельницей. Была ночь.

— Нема! Не можем выбрать! Нету!

Плакали женщины под вербами у берегов, над осокою. Плакали дети.

— Тато! Тато! — кричали.

— Говорите, тато, говорите!

Загорелось полдесятка хат. Осветило людей в воде.

Лаврин стоял по грудь в воде, опершись о гнилой столб от старого моста.

— Лаврин, прими грех на душу.

— Лаврин, у тебя сыны в армии. Что тебе? Прими, Лаврин Михайлович.

— Кому, как не тебе, Лаврин, — говорили в воде. Уже не было сил.

— Лаврин, спасай. Пропадем к такой матери!

— Соглашайся, да пойдем уже, перекусим, — сказал посиневший от холода Мина Товченик, сосед Лаврина.

— Ну хай будет так, — сказал Запорожец после долгого тяжелого раздумья.

Утром фон Крауз, подбравший, выпавшийся, выкупавшийся, в одной полосатой пижаме подошел к мельнице.

— Гутн таг, украинише льойте! Ви гейт ес инен? Их габе гегерт дас зи волен ниht кандидатур староста каварить. Дас зеер шаде, ниht? — насмеялся старый Эрнст фон Крауз, вытирая шею мохнатым розовым полотенцем. — Абер унмеглих зо филь ин калът вассер штеен, ниht вар?

Бите, комен зи гир унд подумайте нох айн маль. Немножко. Ну, пожалуйста...

Селяне начали выходить из воды.

— Вер, ду гаст гезахт?

— Запорожец Лаврин, — сказал Людвиг.

— Запорожец! О, дас файне наме! Хайль, Гитлер! — крикнул вдруг Эрнст Крауз так громко, что даже кони и гуси перепугались.

— Позвольте, господин начальник, ваше высокоблагородие, — сказал пожилой какой-то человек и, снявши шапку, вышел немного вперед. Его не было между селянами. Он только что явился, он был отличный от всех. Тихий ропот прошел по толпе. Селяне узнали кулака Максима Заброду.

— Заброда!

— Как же это так, прошу почтения, ваше высокоблагородие. Я бежал сюда из северной Сибири через фронт, полз гадюкой, лез, катился бубном. Великую книгу можно написать о моих страданиях, и вот прибежал. Запорожец! Этот человек председатель колхоза, — грозно сказал Заброда. — Какой же он староста? Он меня в Сибирь выселял!

— Ну?

— У него пять сыновей в Красной Армии. И все коммунисты, как я слышал!

— Пять сыновей? — обратился Крауз к Запорожцу.

— Так точно, пять, — ответил Запорожец.

— Чудесно. Пять сыновей на войне, это... О, дас ист патриотизмус!

Очень хороший староста!

— Его. А вот куркуль Заброда думал, не его ли назначите? — сказал Мина Товченик, очевидно, довольный поворотом дела.

— Заброда? Вер ист Заброда?

— Кулак. Из Сибири вернулся. Большой мироед!

— Заброда? Ком гир, мерзавец! — рассердился фон Крауз.

Заброда подошел.

— Ты хочешь старостой быть, пес?

— Я думал...

— Ты думал, что вернулся капитализмус! Кайн капитализмус, зендерн дойче национал-социализмус! Ферштест ду, гунд?

— Йаволь... — побледнел Заброда.

— Чем ты заслужил этот пост у народа?

— Да вы знаете, ваше высокоблагородие, что это за народ?

— Замолчи, зволоч! — фон Крауз изо всей силы ударил Заброду по морде раза четыре.

— Фатер, идея! — сказал Людвиг. — Это чудесный начальник полиции!

— Полицай! Идея!.. Ага... Да... Альзо, будешь начальником полиции. Ду!

— Не хотим Заброды! Не надо!

— Знаем мы Заброду!

— Господин начальник!

— Не надо!

— Ахтунг! Нас интересуют ваши позитивные мнения. А негативные нет. Вы испорчены критицизмом. Много политики. Не надо политики. Нужно пахать хлеб, масло, яйца, молиться богу... Это человек...

— Поганный человек!

— Дас шаде нихтц! Начальник полиции не должен быть хорошим человеком. Начальник полиции — это курва-полицай, и он интересуется нас именно с этих позиций. Это вам не советская анархия. Ферштеен зи?.. Плятц!

Заброда вытянулся и окаменел, как столб.

— Верно. Истинная правда! — сказал твердо и убедительно Мина Товченик.

— Дозвольте? — Мина вышел немного вперед.

— Ну?

— Уже, сказать бы, если оно к тому пришло, что вместо милиции, вместо простака, сказать бы, нужно подлеца чи курву, так тут уже, товарищи, ошибки не будет. Верно вам говорю. Такого подлюки, как Заброда, не то что в районе... Куда там... Одним словом, переходное немецкое знамя может получить за подлость.

Все засмеялись. Засмеялся и сам Товченик.

— От времена...

— Чего они смеются, фатер? — спросил Людвиг Крауз.— Руе!

— Руе! Подайте друг другу руки. Ну, — покраснел от гнева Эрнст фон Крауз.

Два непримиримых классовых врага — Лаврин Запорожец и Максим Заброда — подали друг другу руки, тут же расстреляв один другого глазами.

Пламенели дни и ночи в заревах пожаров. Кончалось лето. Мокрая осень. Разбухли холодные болота в мелких дождях. Горело. Над камышами стояли туманы и дым. Крякали мины в трясинах. Утопали юноши в зыбких болотах.

— Спасите! Ой, спаси...

— Тихо!

По шее, до рта в холодной воде брели болотами на восток многие тысячи беззаветных героев, словно раскиданные непогодю, разорванные ключи* перелетных птиц. Поднимали над мокрыми головами родное свое оружие, партийные билеты, все, что было дорогого, уносили веру в сердцах. и нечистая болотная гнилая вода нагревалась от горячей бессмертной веры в победу и от крови вечной светлой памяти героев.

Не раз и не два гомонели они с врагом в громких кровавых беседах. Множество вражьих кладбищ оставили за собою и сами полегли в великом числе, принявши честно труд и страх боев и смерть. По всем дорогам слышали люди ночами, как стонала от горя земля и плакали вдовы.

О, украинская земля, как окровавилась ты! Реки кровью налились, озера слезами и тоскою. Яры и переправы трупом и предсмертною блевотою. Степи гневом засеялись, проклятьями и стоном.

— Товарищи! Братики! Примите раненых! Подвезите! — кричали раненые на горестных шляхах. Отступало войско. Пролетели грузовые машины разных снабов, военторгов, управлений. Холодные, злые шоферы, казалось, не видели ничего на дороге. Не видели и пассажиры. Много среди них было и ничемных людей, лишенных понимания народной трагедии. Недоразвитость обычных человеческих отношений, скука формализма, ведомственное безразличие или просто отсутствие человеческого воображения и тупой эгоизм проносили их мимо раненых на государственных резиновых колесах.

— Товарищи, пожалейте... — просили раненые.

— Стой, застрелю! — кричал раненый Роман Запорожец.— Стой!

— Ах, что ж это делается? Скажите мне, почему мы такие поганые? — плакался раненый юноша с перебитой ногой.— Товарищ командир, программа какая! Самая высшая в мире. А мы вот какие, гляньте! Подвезите раненых, растуды вашу мать! — И заплакал.

Пролетали машины, как осенний лист.

* вереницы, стаи (укр.).

Василь Кравчина, раненный в руку, отступал по дороге с группой хорошо вооруженных бойцов, и тяжелый гнев и стыд терзали его душу. Он чувствовал себя виноватым перед людьми, смотревшими на него из окон и с тротуаров маленького городка. В их глазах он читал молчаливый горький укор и смятение, и страх. То же самое ощущали и бойцы. Утомленные лица их были злы и хмуры. Долгое отступление, печаль и горести тяжелых утрат придавили их всех.

— Скажите мне, товарищ, почему мы такие, га? — обратился к Кравчине молодой боец. — Почему? Что это такое? Подвезите раненых, сволочи!

— Вперед! — весело махали руками военторговцы. Они были рады, что отъезжали на восток еще за одну реку, что машина исправна, что шофер, лежавший недавно под машиной целых шесть часов, ковыряясь в ней, отчего все они чуть не походили с ума, все ж таки машину оседлал. Души у людей были маленькие, карманные, портативные, совсем не приспособленные к большому горю. Они выросли в атмосфере легкого успеха и радостей. Суровая, мужественная эпоха необходимости давно уже казалась им законченной, пройденной, и они плавали уже несколько лет в царстве свободы, словно рыбки в тихой неглубокой речонке, где всегда было видно и дно и небо, и тень и омуты.

— Смотрите, катятся, сволочи! Раненых бросают!.. Что это?

— Не знаю. Я сам такая ж сволочь, — сказал Кравчина машинально.

— Га?

— Я жену бросил.

— Да? А я бросил деда, батька, мать и сестру Олеся.

— Олеся?

— Да, Олеся. Сестра моя, — сказал Иван Запорожец.

— Смотри. И жена моя Олеся, — ласково и горько улыбнулся Кравчина. — Олеся...

— Где?

— В этом, как его... Ай, забыл... Возле перелаза кинул... Ах, убить бы меня нужно!.. — вздохнул Кравчина.

— Не знаю я, товарищ командир, что оно и к чему, но чувствую тут, — Иван Запорожец ударил себя кулаком в грудь, — не умели мы жить как следует, нет, нет...

В районном городке в суматохе и растерянности вбежали к председателю Н. Лиманчуку две красивые девушки.

— Что вам нужно?

— Скажите! — волновались они, задыхаясь.

— Что сказать? Что вам нужно? Что?

— Скажите нам...

— Что сказать, что, ну? Ну что, что ну? Алло, алло! — звонил председатель.

— Мы учительницы, комсомолки...

— Знаю. Все вы — комсомолки... Ну что?

— Мы боимся! Может нам уйти бы...

— Га?

— Отдадут ли наш город врагу?

— Какой город? Как вы смеете? Кто вас прислал сюда? Пятая колонна?

— Так мы?..

— Панику сеять!.. Алло... алло!

— Мы...

— Выйдите сейчас же, чтоб я вас тут не видел! Этот город никогда...

Лиманчук метушился по кабинету, словно плохенький актер по провинциальной сцене.

— Идите.

— Ну, спасибо вам.

— Никогда, слышите?! Ни за что! Не выйдет!

— Не правда. Не слушайте его, товарищи,— сказал Василь Кравчина, войдя в кабинет. Он слышал лишь последние возгласы председателя, но ему сразу уже была ясна вся картина беседы этого отца города со своими несчастливими горожанками.

— Этот город мы оставляем. Уходите, девчата. Пока не поздно, уходите, или горе вам будет.

— Вы кто такой? Как вы смеете? Вы знаете, что за это?.. — хорохорился председатель, рвя на мелкие кусочки какие-то секретные бумаги. Он был большим любителем разных секретных бумаг, секретных дел, секретных инструкций, постановлений, решений. Это возвышало его в глазах граждан города и придавало ему долгие годы особую респектабельность. Он засекретил ими свою провинциальную глупость и глубокою равнодушие к человеку. Он был лишен воображения, как и всякий человек с сонным вялым сердцем. Он привык к своему посту. Ему ни разу не приходило в голову, что, по сути говоря, единственное, что он засекретывал, это была засекреченная таким образом его собственная глупость.

— Что ты мелешь этим комсомолкам? Что ты врешь? Для чего? Во имя чего ты врешь, гад?

Василь Кравчина потемнел, как ночь. Неисправимый промах, даже не промах, а преступление, совершенное им по отношению к Олесе, которую нужно было силою увести с собой, мучил его и не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Сбитый с толку и усыпленный такими вот молодцами, возглашавшими в каждом городе бодрые возгласы, вроде «Никогда враг не пройдет!», возгласы, на которые их никто не уполномочивал, он бросил свою Олесю, и только сейчас, на долгих тяжелых путях отступления, оглядываясь на всех перекрестках, не летит ли к нему сказочной птицей родная его доля, только сейчас почувствовал он полностью свое горе.

— Уходите, сестры мои, бегите! Придут немцы, покалечат вас, заразят болезнями, погонят в неволю, а этот несгораемый шкаф,— показал Василий на председателя,— собирающийся бежать, вернется потом и будет судить вас за распушенность.

— Я вас арестую! Алло, алло! — закричал Лиманчук, дергая телефонный шнур и продувая трубку, словно самоварную трубу. — Меня партия поставила!

— Товарищи, не могу, не могу, не могу, точно. Вам понятно?

Толстоватый человек с двумя шпалами доказывал спокойно и вежливо и даже с приятной усмешкой, словно опытный воспитатель непослушным детям, что он не может их взять в свой грузовик, потому что хоть грузовик и полупустой, зато груз его секретный. Кроме того, вообще нельзя никого брать, так как это воспрещено приказом. Поэтому он советовал не стоять на дороге и не угрожать ему, а пропустить.

— Понятно?

— Товарищ, так возьмите девочек этих и раненого,— просил Кравчина.

— Товарищ, я везу военный груз, поймите.

— А я раненый, разве я не груз?! ...Твою мать, смотри! — И раненый в ногу Иван Запорожец начал быстро разбинтовывать свою ногу.

— Товарищ, вы мне этого не показывайте. Вы не угрожайте мне раной.

— Я не угрожаю.

— Я принципиально не могу.

— Что?
 — Так объясните нам.
 — Товарищи, дело не в ране. А в принципе, в приказе.
 — Дело в страдании, — сказала девушка.
 — Это не военный разговор. Вы знаете, какие были случаи? Вот так подвозили, а потом подвезенные бросались с ножами на спину.
 — Товарищ, этот раненый — член ЦК комсомола! Он не бросится.
 — Не могу. Не могу!
 — Понял! Не берите ни девушек, ни меня, — сказал вдруг Иван. — Езжай немедленно, иначе бросимся на машину и задушим, как гадюку. Дайте ему дорогу! Катись!
 — Давай!
 — Товарищ командир, ну что вы скажете? — обратился Иван к Кравчине.

— Скажу, что война будет долгой. И крови нашей прольется намного больше, чем могло б пролиться. И страданий.

Шли бойцы по грязной дороге, оглядываясь на запад в тяжелом раздумье. И проклиная свои недостатки, казавшиеся им истинной причиной отхода на восток, не знали они, как много величайших дел суждено им свершить, как много суждено пролить крови на необъятной своей земле и какие холодные калькуляторы будут дозировать их кровь в заморских кабинетах.

Пахали землю в ярах и шлеях. Шестеро в плуге, седьмой за плугом — Мина Товченик.

— Гей, гей! — погонял Мина дезертирство и окруженство.

— Да правь уж молча, не дразни! — сердился в ярме старый колхозник Левко Царь.

Т о в ч е н и к. Тяни, тяни, бугай!

Н е х о д а. Ой, какая мука!

Ж у р а в е л ь. Ах, если б я был в армии! Пусть бы меня ранили, контузили в боях хоть каждый день, как бы был я счастлив!

Т о в ч е н и к. Брось молоть чёрт знает что!

Ц а р ь. А чего бежал?

Ж у р а в е л ь. Растерялся. Не мог понять сам себя. Броня тонка.

Ч у б е н к о. Эге. Крови перепугался! <...>

Ц а р ь. Да не гарикай там!

Т о в ч е н и к. Но-о!

Ц а р ь. Не человек уж я. Конь... Позор, позор... О, позор!.. Дай отдохнуть. Падаю.

Т о в ч е н и к. Не дам. Он, уже смотрят, гады, пристрелят, поди, — сказал Мина, оглянувшись.

Жандармы с автоматами следили за полем.

Н е х о д а. Тяните, черти б вашего батька потянули!

Ч у б е н к о. Ой!

Ц а р ь. Эх, когда-то оно не так было. По-другому воспитывали.

Н е х о д а. Лучше?

Ц а р ь. Лучше.

Н е х о д а. Так чего ж вас так хорошо воспитали, а вы нас так погано? Да еще и ругаетесь? Ага, молчишь, старая собака!

Ц а р ь. А, глупак...

Н е х о д а. Сам ты дурень!

Ж у р а в е л ь. Ну, довольно там!

Ч у б е н к о. Да, когда-то в истории, говорят, тоже запрягали нашего брата не раз. <...>]



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ»

Центральная Украинская студия кинохроники, октябрь 1943 г.

«Ушли партизаны навстречу родной своей армии, и одинокая луна освещала притихшие хаты...»

Т о в ч е н и к. Но! Довольно историю толочь!

Ц а р ь. Я думаю, что такого ката, как наш староста Лаврин Запорожец, еще и история не знала.

Т о в ч е н и к. Сами выбирали.

Н е х о д а. От Каин! Вот так людей замучить в ярмах.

Ч у б е н к о. Хуже Заброды. Камень — не человек.

Огромная стая воронья поднялась над подсолнечниками и закрыла небо. <...> Слышалось — кра, кра, кра!

— Пожалейте людей, батько. Что вы делаете? — Олеся стояла перед отцом-старостой, решительная и взволнованная.

— Каких?

— Зачем вы людьми пашете?

— Они меня на это выбрали.

— Как на это?

— Чего они хотят?

— Они не хотят ходить в ярмах.

— Пусть не ходят.

— Ну, тату!

— Я тебя спрашиваю, чего они хотят?

— Я не знаю.

— А ты узнай. Заступница.

— Я уже не могу людям в глаза смотреть. Они нас ненавидят.

— А кого они любят?

— Тату, что с вами?

— Я тебя спрашиваю, что они любят? Заступница! Водку?

— Они в ярмах...

— Не хотели ярма, надо было биться за волю.

— Не могли все биться.

— Это правда. Но будут. А кто не будет — умрет.

— Они вас убьют.

— Знаю. Такая уже моя игра. Не они убьют, убьют немцы. Не убьют немцы, убьют наши, вернувшись. Немецкий прихвостень... Жалко людей... А мне себя жалко. На меня, проклятого, повесили все зло. Староста собака, староста злодей! А там, смотри, сыновья откажутся!

Кто-то постучал в дверь.

— Выйди из хаты.

Вошли в хату два незнакомых человека. Стемнело. Говорили шёпотом.

В застенке истязали людей. Слышны были крики, стоны, выстрелы и глухие удары падений. Кого-то выносили и выбрасывали в яму.

Эрнст фон Крауз появился в дверях. Он был мокрый от возбуждения и тяжело дышал, словно не он истязал людей, а его самого жгли огнем и терзали. Глаза его горели, как у безумного, и тряслись побелевшие губы.

— Вассер!..

Он начал мыться холодной водой, выкрикивая по-немецки какие-то грубые ругательства.

Полицейские стояли мокрые от ужаса. Фон Крауз упал на скамью и застонал, почти теряя сознание. У него был сердечный припадок. Он приказал позвать Заброду. Вошел Заброда.

— Молчат?

— Да, господин полковник, ваше высокоблагородие. Клянусь вам каторгой, богом, это все работа Запорожца.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ»

Центральная Украинская студия кинохроники, октябрь 1943 г.

«Разошлись партизанские отряды по всему Правобережью. Увозили раненых в боях, строили переправы, переходили реки, болота».

— Что ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— У!.. — Крауз выстрелил в Заброду из пистолета, но выстрела не последовало, и он бросил в немой ярости разряженный пистолет прямо ему в лицо.

— Я не сплю ночами, — лепетал Заброда, — я загнал всю полицию. И хоть бы что-нибудь. Ничего. Пашут в ярмах, молотят, а хлеба нет, коровы пропадают. И всё молчит и проклинает, будто, Запорожца, и что-то тут есть, вот-вот-вот!..

Фон Крауз снова вскипел и кинулся к Забрوده.

— Я тебя повешу. Слышишь? За что я тебе дал землю? Завоеванную кровью моих солдат! Свинья! Чтоб тебя, паршивого кулака, даром кормить! Гунд!

И старый злодей Эрнст фон Крауз так застучал о стенку головой Заброды, что стена затряслась.

— Клянусь, Запорожец... Запорожец... — стонал Заброда.

Эрнст фон Крауз задыхался от ярости.

— Фатер, успокойся, что ты делаешь? — вбежал Людвиг. Отбросив Заброду, он обнял отца.

— О, мой мальчик, майн либе кинд, — размяк вдруг Крауз, — никто нас, немцев, не понимает, никто, ай...

Фон Крауз вошел к Лаврину Запорожцу чистый, хорошо одетый с пакетом.

К р а у з. Здравствуй, Лаврин! Как твоё здоровье?

З а п о р о ж е ц. Здравствуйте, господин полковник.

К р а у з. Не господин, а по-украински — пане-полковник.

З а п о р о ж е ц. Извините, мы люди простые, к панству, так сказать, не того.

К р а у з. Как жена? Выздоровливает?

З а п о р о ж е ц. Помаленьку.

Т а т ь я н а (из-за стены). Спасибо.

К р а у з. А, фрау Татьяна... Как дети?

Т а т ь я н а. Ох!

З а п о р о ж е ц. Да кто их знает? Где-то...

К р а у з. Бьются. Где-то уже на Урале.

З а п о р о ж е ц. На Урале?

К р а у з. Да. Жаль. Если б...

З а п о р о ж е ц. О, если бы они были здесь, все было бы по-другому. Они всем бы показали дорогу.

К р а у з. Я слышал, один вернулся и прячется?

З а п о р о ж е ц. А, болтают.

К р а у з. Жаль... Хм... До чего народ испорчен. Все доносят. Клеветают друг на друга.

З а п о р о ж е ц. От глупости.

К р а у з. Да... Смотрю я на молодежь. Плохая молодежь пошла. Легкомысленная. Это только мы с тобой понимаем, старики. А?

З а п о р о ж е ц. Да такое что-то действительно.

К р а у з. Полная распущенность! Ну, полная распущенность. Материалисты!

З а п о р о ж е ц. Эге.

К р а у з. Ты согласишься, у нас уже есть офицеры, не умеющие грамотно писать. Единственный идеал — нажива.

З а п о р о ж е ц. Да у нас тоже чего-нибудь там такого, так не очень, сказать бы. Ну, известно, всякие.

К р а у з. Да?
 З а п о р о ж е ц. Один за другого не того.
 К р а у з. Не что?
 З а п о р о ж е ц. Не думают про хорошее. Ну хоть плачь.
 К р а у з. Хлеб прячут. Заброта говорит...
 З а п о р о ж е ц. Пустое.
 К р а у з. Уходят в лес?
 З а п о р о ж е ц. Нет, пока все дома.
 К р а у з. Боюсь, как бы чего не случилось.
 З а п о р о ж е ц. А что?
 К р а у з. Сейчас в Германию набираем на оборонную работу.
 З а п о р о ж е ц. Слышал.
 К р а у з. Ой, боюсь, Лаврин, что придется снова вешать. Закон!
 З а п о р о ж е ц. Да, к этому оно идет.
 К р а у з. Да? Ты меня понимаешь, значит?
 З а п о р о ж е ц. Я и сам вот думаю, что следовало бы спасти и послать в Германию сотню молодежи на работы.
 К р а у з. О, Лаврин, у тебя разум, как у немца.
 З а п о р о ж е ц. А...
 К р а у з. О, ты у нас далеко пойдешь.
 З а п о р о ж е ц. Вот составил список. Тут самые здоровые и красивые. Нат.

На другой день затужила вся улица. В село въехал Людвиг Крауз с большим отрядом жандармерии. Автомашины с пулеметами расположились на всех выездах из села. Люди в тревоге выглядывали в окна.

Христя вбежала в сени к Олесе вся в слезах:

— Тетушка! Тетушка Татьяна!

В дверях показалась Олесья.

— Олесью!

— Христя!

— Олесью, людей забирают в Немеччину!

— Что ты?

— Батько твой. Слышала?

— Что?

— Список подал, и я в том списке!

— Кто тебе сказал?

— Павло.

— Брешет.

— А ему Заброта, начальник. Вот как! — Христя смотрела на Олесью с нескрываемой ненавистью. — Почему я в том списке? Га?

— Христя!

— Почему тебя нет? Людей продаете! Выслуживаетесь!

— Христя...

Заброта стоял перед фон Краузом и дрожал:

— Когда ты появился в первый раз возле речки, помнишь, я сразу увидел, что ты мерзавец, — назидательно говорил фон Крауз, рассматривая Заброту с некоторым удивлением, как не совсем понятный человеческий феномен. — Но я никогда не мог подумать, чтоб твоя скотская, и даже не скотская, чёрт тебя знает, какая мерзость, ненависть и злоба, доходили до этого. Ты меня понимаешь?

— Никак нет!

— Фух... Зачем ты выслуживаешься передо мною? Почему ты с такой радостью доносишь на людей, выколупываешь их старые мизерные преступления, заблуждения, ошибки?

— Я ненавижу советскую власть.

— Но ведь ты же украинец?

— Так точно.

— Так как же ты?.. Мы же твой враги. Мы завоевали вас?.. Помнишь, Людвиг, я тебе говорил. Вот чистый образец, — обратился Крауз к Людвигу. — Как ты можешь?..

— Клянусь честью!

— Молчать! Он будет говорить мне о чести! Зачем ты клеветешь на Запорожца? Молчать! На! Вот список всех людей, которых следует отправить в Германию на работы. Довольно баклуши бить! Знаешь, кто список подал? Запорожец. Единственный честный человек в селе! Сволочи.

— Дозвольте, — сказал Заброда, бегло проглянувши список.

— Ну?

— Казните, не верю Запорожцу. И вам не советую.

— Что ты знаешь?

— Пока ничего.

— Ты дьявол!

— Ваше высокоблагородие, — встрепенулся вдруг Заброда. В мрачных его глазах загорелся какой-то замысел. — Вот если б он вошел сейчас в хату и вписал в список свою дочку, единственную дочь, тогда называйте меня дьяволом, сатаной, чем хотите. Но пока я вижу, что этого нет, позвольте мне думать...

— Интересно, га? — переглянулись немцы.

Тут Лаврин Запорожец не выдержал и постучался в дверь. Он слышал за дверью слова Заброды.

— Что тебе? — нахмурился Крауз.

— Я пришел сказать вам про одну свою ошибку, — тихо промолвил Запорожец, подойдя вплотную к Краузу. — Народ волнуется, и это моя вина. Дочку-то свою я не внес в список. Признаться, пожалел. Отцовская слабость, простите...

— Ну, что ты, Лаврин!

— Пишите дочку. Сила примера — великое дело. Простите, что не вспомнил сразу.

— О, Лаврин, ты победил меня, — сказал взволнованный Крауз. — Я хотел просить тебя о дочери.

Крауз посмотрел на Заброду. Заброда побледнел и тяжело задышал.

— Тато?!

— Да.

— Скажите, что это неправда!

— Нет, доня, это правда. Собирайся в дорогу.

— Мама!

— Лаврин! Что ты делаешь? — Татьяна стояла в дверях худая-худая, желтая.

— Помолчи, Татьяна. Олеся поедет в Немеччину.

— На погибель!..

— Нет... Олеся, выйди в сени.

Олеся вышла, шагаясь.

— Когда отвезешь Олеся на станцию, не возвращайся в село. Все может быть.

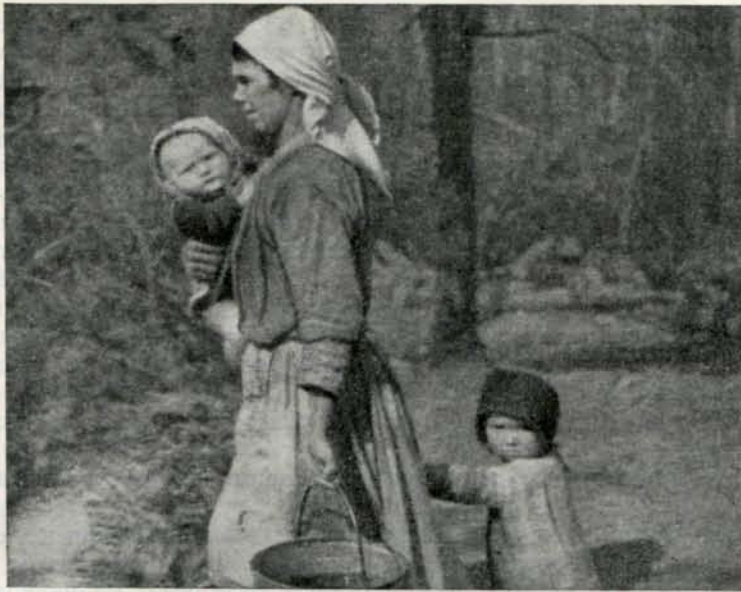
— Что ты?

— И эта хата, может, скоро сгорит.

— Лаврин!

— Молчу.

— Я не поеду! — закричала Олеся в дверях.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ»

Центральная Украинская студия кинохроники, октябрь 1943 г.

«Вот живые символы народного бедствия, это не похоже на действительность, но это правда <...> Вот пахарь, отброшенный фашизмом на целое столетие назад <...> Вот его дети в лесах. Вот его жена...»

В хату вошел Мина Товченик.

— Вот мир настал! За границу не хотят ехать. Там же моды какие да декалоны! Хотя мы уже, говорят, сами заграница. Гутен так вам с маком!

— Мина, что ж это делается? — всплакнула Татьяна.

— Ну,— сказал Мина, подойдя к Запорожцу и словно закрывая его от Татьяны.

— На, спрячь,— тихо ответил Лаврин.— Не жалеи ни коней, ничего, чуешь? Найди и передай, чтоб сразу выходили, как только прочитают.

— А куда выходить?

— Там все написано. Помни, Мина, в твоих руках судьба. Вот разрешение на выезд.

— Куда это ты? — спросила Татьяна.

— Не твое бабье дело. Ауфидерзеен,— сказал Мина и с таинственным видом вышел в сени.

Вернувшись домой, он повелел жене своей Одарке подавать обед, а сыну повелел спешно запрягать коня.

— А куда это вы, батько, едете?— спросил Мину из сеней молодой его сын, полицай Устим.

— А не твоего полицейского ума распоряжение,— ответил Мина, доедая свой обед.— Запрягай.

— А что это за бумага у тебя в шапке? — спросила старая Одарка Товчениха, готовя харчи на дорогу.

— Опять же не ваше дело,— ворчал Мина.

Устим молча ушел запрягать коня, а с ним вышел и его приятель полицай Павло Хуторный, унося незаметно письмо.

Бесконечными поездами увозили в Германию украинских людей. Горе разлилось по недобитым вокзалам и стоны разлук.

Олеся прижалась к матери и, целуя худую восковую материнскую руку, говорила тихо, утопая в безысходной тоске:

— Прощайте, матинко моя родная, не забывайте меня, не забудете? А когда вернутся наши с войны, передайте... Ой, не вернутся, мама...

Олеся плакала. Она словно чувствовала своею чистой девичьей душою, что никогда уже не увидит ей своей тихой доброй матери.

— Доченька моя, дивчинка, до последнего вдоха своего буду молиться я зорями вечерними и утренними, чтоб минуло тебя горе и злое поругание. Чтоб хватило сил в неволе, чтоб не покинула тебя надежда, голубонька моя... — тужила старая мать Татьяна Запорожчиха, прижимая к себе дочку в последний раз.

— Нет, не вернутся, мамо. Не увижу я уже ни Романа, ни Василя. Разнесет нас по всему свету. Кто соберет нас, матинка, кто? Кто нас покличет? Мама, мама!

— Соберет, верь, доченька моя. Как бы тебе ни было тяжело, верь, надейся, веруй, детонька моя!

— О, мама! Какие же мы несчастливые, какая несчастливая земля наша!

Плакали люди вокруг. Прощались матери с дочерями, сестрами, с братьями и малыми детьми.

Плакали покинутые дети, разлучались с матерями, пропадали, разносило их на все стороны.

Чтоб целый, может быть, век уже искать друг друга и не найти до смерти и следа не оставить никакого.

Одни лишь тупоголовые гитлеровские убийцы спокойно прохаживались среди несчастных и загоняли их в вагоны, как скот, да немецкий оркестр на вокзале заглушал страдание и плач.

Свисток. Последний взрыв крика в окне. Кто-то упал на рельсы. Двинулся поезд.

Три вдовы упали на пути, поднявши руки к небу. Поезд не остановился.

Да с полдесятка мужчин тут же расстреляли между прочим для порядка, чтоб не кричали, словно пьяные, с трясущимися белыми губами.

Поезд, переполненный невольницами, побитыми мужчинами, конями и быками, уходил на запад.

Проплывали серые непаханные украинские поля, побитые вокзалы, разрушенные города, трубы и черные окна сгоревших домов.

Татьяна стояла, словно каменная, когда подошел к ней полицейский Иван Гаркавенко.

— Тикайте, Татьяна Остаповна. Дядька вашего арестовали.

Когда немецкие жандармы поставили перед фон Краузом Лаврина Запорожца, избитого, в порванной одежде и обессиленного неравной борьбой, Эрнст фон Крауз чуть не помешался от бешенства. Однако он сдержал себя, чувствуя, что еще минута гнева, и он погубит себя. Тяжело дыша, бледный, он смотрел на Запорожца и долго не мог вымолвить ни одного слова.

— Ты собрал сотню юношей и девушек, чтобы отправить их в партизанский отряд? — спросил он неожиданно спокойным, обычным голосом.

— Да.

— Ты послал партизанам вот это?

— Да. Это письмо я послал партизанам, чтоб они уничтожили по дороге охрану и забрали к себе молодежь.

— И твою дочь?

— Да.

— Молодежь и дочь твоя отправлены в Германию, хата твоя сожжена, жена убита.

— Знаю.

— Ты страдаешь?

— Нет.

— Почему?

— Я тебя ненавижу.

— Слушай. Я не буду тебя бить сейчас. Я устал сегодня от битья, — сказал Эрнст фон Крауз. Он снова вдруг покрылся потом. Его душила жаба. Он задыхался. — Я апеллирую к твоему разуму.

— Я не скажу ни слова.

— В данной ситуации ты не имеешь права не отвечать. Война есть война. Скажи, где партизаны и кто здесь с ними связан. Тогда я тихо тебя повешу, ай... ухх!

— Я не скажу.

— Ай... Ну, тогда до завтра. Завтра у меня будет свежий юмор. — Фон Крауз встал и медленно подошел к Запорожцу. — Завтра я сам выколю тебе глаза, отрублю руки и ноги и отрежу язык. Я не могу просто обойтись с тобой. Понял? Я имею свой престиж, а ты... О, ты не какой-нибудь клиент.

— Иди ты к чёртовой матери, чёрт бы твою душу побрал, нехай!

— Ай, как я ненавижу тебя, славянская собака, — тяжело задыхал фон Крауз. — О, скорей бы мне выбраться из этого проклятого края.

— Не выберешься!

— Помолчи. Все равно не застрелю. Будет завтра так, как я сказал. Посадить на ночь за проволоку! — приказал он жандармам.

По ночам зарева пожаров освещали поезд. Тогда ревели быки в вагонах, храпели кони, ржали и взвизгивали в тревоге.

И дивчина Христя, высунув голову из окна вагона, кричала в степь в отчаянии:

— Прощайте!..

Поезд пел недолю по степям, по горам, по долинам...

Усі гори зеленіють. Тільки одна гора чорна,
Тільки одна гора чорна. Там орала бідна вдова...

Чорна хмара наступала
Сестра з братом розмовляла...

В полутемных товарных вагонах девушки жались друг к дружке.

Ой, братику, голубоньку,
Прийми діток на зімоньку.

Пела Христя и думала горькую свою думу. Растерзанную ее душу мучили горе и зло на недолю, на весь проклятый мир.

— Так... Скажи мені, брате герою. Скажи мені, сестро покритко! — промолвила она, словно слагая песню про себя.

— Ну, довольно, Христя. Давай споем веселую. Все равно уж. Ну! — успокаивала ее Олеся и, чтоб развеять тоску, начала:

Летіла! возуля через мою хату.
Сіла на калині та й стала кувати...

Девушки подхватили. Вышло еще тоскливей.

— Рабы... Разгонят нас по чужим землям, словно чаек в бурю. Будет нас по горам, по долинам, по чужим украинам, — не утихала Христя.

— Христя, бежим! — твердо и решительно прошептала Олеся.

Вечерело. Невольники позалезали в норы и стучали зубами от холода. Под холодным осенним небом лагерь казался огромным кладбищем разрытых могил, где лежали на дне живые покойники.

Из одной могилы тихо возносилась вверх песня про горе чайки-горемыки, что давным-давно когда-то вывела было чайчат при широкой дороге. Про далекие чумацкие шляхи и про веселых беспечных чумаков, что всё было пели, за волами идучи, и согнали чайку, и детей забрали. Как билась чайка об дорогу, как припадала она белой грудью до сырой земли, как жалобно молила певцов дорожных — «Ой, верніть мені чаєнята, я їх рідна мати!»

Гремели выстрелы часовых и раздирали песню автоматы. Над лагерем смрад и тяжелая, невыразимая печаль.

За колючей проволокой сидел Лаврин Запорожец и плакал.

На темное небо повыходили звезды.

Запорожец посмотрел вверх. Небо было огромное, торжественное, вечное. Далекие звезды освещали его холодным безразличным светом. Ощущение вечности и бесконечности мира опустошило его усталую душу и немного успокоило.

— Что смерть моя и смерть моих детей? — подумал Запорожец, — и что мои мизерные муки, когда исчезают в небытие тысячи людей, гибнут семьи, гибнут целые роды без числа и края.

— Лаврин... Лаврин... — как будто послышался издали женский клич.

Запорожец поднялся и стал прислушиваться.

— Лаврин... Это ты, Лаврентий? Я принесла тебе поесть! Хлеба, картошки и груш...

Он узнал голос Мотри Левчихи. Она притаилась где-то в кустах и тихо-тихо звала.

— Я сейчас положу возле проволоки и убегу. А ты возьми и никому не давай, надейся, слышишь? А утром доешь, крепче будешь. Слышишь?

— Слышу, — глухо ответил Лаврин.

— Гляди, я бегу, — тихо проговорила Левчиха.

И выбежала из кустов прямо к нему.

Прогремел выстрел — ррр...

— Ай! — словно испугалась Мотря и тихонько упала мертвая на песок. Узелок с размаха пролетел немного вперед и упал возле проволоки.

И дающая правая рука ее с разгону тоже протянулась вперед и поникла.

Запорожец припал к земле и быстро приполз к проволоке. Из всех сил протянул он руку к хлебу и не достал.

— Тегушка, — прошептал он, хватая пальцами песок.

Не вернемось, чайко, ти матінко наша,
З'їли твоїх чаєняток, добра була каша, —

разносился над лагерем из ямы тихий чумацкий реквием.

Неумирающий голос седых столетий звучал в темноте над колючими проволоками. Уже ничего не просил он, не упрекал, не проклинал. Была уже в нем одна примиренность с неумолимым бегом времени и очищенная, настоенная на сухих цветах давности, прозрачная печаль.

Над мертвою Левчихою стоял Максим Заброта с желто-голубой повязкой на рукаве. На груди на ремне блестел у него автомат. Запорожец встал, и они сразу узнали друг друга.

— Добре спиває недоля, — тихо сказал Заброта. — По себе знаю. Я тоже вот пел по ночам в Сибири. Ох, как еще пел! Откуда только и голос брался. Бывало, все люди плачут.

Заброта переступил через труп Левчихи и подошел к проволоке.

— Сегодня не мешало б тебе зятянуть что-нибудь, а? Пришел послушать. Спой что-нибудь, слышишь?

— Это ты убил? — глухо спросил Запорожец.

— Кого? — Заброта оглянулся. — А, Левчиха... Да что там Левчиха? Мне вот тебя жаль. Ой, будет болеть, Лаврин! Сорвутся с твоего языка и партизаны, и оружие, только будет уже поздно. Жалко.

— Не нужна мне твоя жалость.

— Такая душа у меня. Ненависть у меня к тебе, Лаврин, старая, как застарелая хвороба. А вот пришел твой смертный час — жалко... Может, что-нибудь придумаем, га? Скажи, где партизаны и оружие?

Заброта близко-близко заглянул Запорожцу в глаза. Запорожец сжал зубы.

— Уйди от меня, сатана. Иди погавкай офицеру, что на мне земли ты не зарабатываешь. Иди!

— Ну что ж, вечная тебе память за твой характер, а я, дурной, думал было...

— Что? Заработать на партизанах? Иуда!

— Эге. Христос нашелся. Я уже заработал и так немало в Сибири. Кто меня туда загнал со всей семьей? Кто?

Заброта поднял кулак и весь задрожал. Тяжелая старая злоба поднялась в нем мутной волной из самых глубоких, темных пропастей несогласной его души. Голос его хрипел. Слова, казалось, вылетали из пылающей бездны.

— Сводил ты со мной счеты за столетия по Марксу. Теперь вот я с тобой по Гитлеру сведу... Вот завтра будет мой юбилей. О, запомним советскую власть и Левчиху...

Левчиха лежала маленькая, аккуратенькая, в праздничной одежде. На ней была чистая сорочка, которую она давно еще держала в сундуке на смерть, и старинная длинная безрукавка, и новая черная юбка в мелких синих цветочках. А на шее даже ниточка мелкого кораллового мониста с дукачом еще с девичьих лет. Она словно предвидела свою смерть. Вечный покой уже разливался по ее челу. Оно словно светилось в сумерках.

— Ишь, паскуда, приделалась как на Пасху!

— Не смей так говорить про нее, слышишь! — разгневался Запорожец. — Не смей, она святая.

— Кто?

Заброта бросил автомат и подошел к самой проволоке.

— У... ты... боишься?

— Кто-о?..

Дальше они не выдержали и вцепились, сквозь проволоку, друг в друга. Они начали ломать друг другу руки и пальцы. Потом они обнялись и долго душили друг друга сквозь проволоку.

— Тихо, не храпи! Тихо...

— Тихо! Слышишь?

Долго говорили они у колючей проволоки. Говорили о власти, о земле, о социализме. Говорили о кулаках, о ссылке, о страданиях на чужбине, говорили про голод, про смерть, про измены.

Они плевали друг другу в глаза Сибирью и страданиями, и голодом и смертью. Они плевали друг другу в лицо Гитлером, немецкими погромами и пожарами, и виселицами, рабством и бешеной ненавистью к Гитлеру всего мира. Ненависть разбушевала в их пламенных душах и вырывалась из них страшными взрывами, одна против одной.

Они били друг друга тяжелыми ржавыми обломками своей тяжелой истории, и оба стонали от ударов.

Они то отходили один от другого, то снова сходились совсем близко и проклинали, и снова хватали друг друга, и вглядывались один другому в блеск очей и зубов в темноте.

Они давили друг друга и прижимали грудью головы к проволоке. И колючая проволока впивалась в их лбы, и кровь стекала с них, и ненависть, и страсть.

— Тихо... тихо...

Они говорили про Москву, и когда Заброта сказал, что Москва уже пала, Запорожец со всей силой ударил Заброту кулаком в лоб, так что искры полетели из него, как из трубы.

— Врешь!

— Не вру... Сам слышал по радио... Пусти!

— Врешет ваше собачье радио!.. Слышишь, говори, что ты врешь. Говори, или я тебе голову открушу!

— Пусти!.. Ай!..

— Не пуцу! Подай мне хлеб! Подай мне хлеб, говорю тебе... — хрипел Запорожец.

— Не подам... тихо...

Они говорили то тихо и медленно, как бы нехотя, утомившись, и тогда слова вырывались из уст, как одинокие выстрелы, то внезапно, когда острота ненависти снова начинала раздирать их горячие души, они расстреливали друг друга в упор бешеными ураганами словесного огня. Тогда пена закипала у них на побелевших губах, и брызги вылетали изо рта и казались иногда искрами, как у разъяренных драконов.

— Пусти меня!

— Пусти! Ай-ай-а!..

Иногда они с вершин своего поединка падали, очевидно, от большой усталости до обычных оскорблений.

— Пусти... твоей матери! Пусти, не души меня... Пусти, ну, жидовский батько! Злодей!

— А... немецкий пес. Подхалим немецкий... Ай... пусти!..

— Ага, просишь, гад?.. Вот завтра вытащим из тебя жилы, нарежем звезд из твоей проклятой шкуры.

— Режьте, чёрт вашу душу бери!

— Будут хрустеть кости. Сам буду ломать! Слышишь? Упаду перед офицером на колени, выпрошу. Сам!..

— Слушай, враг. Ты же человек. Подумай...

— Эти же самые слова я тебе тоже когда-то говорил, когда ты выселял меня в Сибирь.

— То было наше внутреннее дело. А сейчас родина гибнет, Украина!

— А что мне родина?

— Всё!

— Га? Всё? Я всё отдам, лишь бы отомстить тебе за свою обиду.

— О, самоубийца!

— Я жертва классовой борьбы. Я арестант.

— Если ты человек, а не дьявол, то должен знать, что узники и судьи бьются рядом, когда отчизна гибнет!

— Хай гибнет, хай!

— Слушай, нечистая сила, неужели тебя породила земля наша?

Запорожец оттолкнул Заброту. Заброта упал.

— Что же вы натворили, немецкие предатели? — сказал Запорожец, когда Заброта поднялся и снова подошел к нему. — Откуда вы налетели, черные вороны? Чуешь, темная сила? Все равно пропадет ваш Гитлер! Ничего, что я погибну. Не страшна мне смерть. Слышишь? Но страшно мне, когда подумаю, где ж погниют кости обманутого Гитлером бедных наших людей? В каких Африках, в каких Скандинавиях? В каких песках и в чьих морях?

— В Сибири, — глухо сказал Заброта и схватил Лаврина за руку.

— У!.. пусти, не крути руку, немецкий раб!

— Кто раб? Я раб?

— Ты. А ты думал, кто ты?

— Я...

— Ага. Плачешь?

— Я не плачу. Сам ты плачешь, гад. Чего ты плачешь? Оплакиваешь долю, проклятый?

— Пусти меня! Я не хочу говорить с тобой, — сказал Запорожец. — Оставь меня одного. Я хочу перед смертью немного подумать. Иди. Я хочу очиститься от твоего прикосновения. Я народный партизан, чужья? А ты... труп! Мертвый ты!

Запорожец посмотрел на Левчиху, на ее узелок с хлебом.

— Поддай мне хлеб, чуешь! Хлеб поддай! Не буду его есть. Я поцелую его.

— Не подам!! — осатанел Заброта и начал бешено топтать узелок с черным хлебом и мертвую руку Левчихи.

Запорожец словно окаменел. Он увидел свою смерть — вот она, совсем близко, лютая, неумолимая. И проснувшись у Запорожца нечеловеческая жажда жизни. Из широких украинских степей, из дебрей, из темных оврагов повеяло на него гарью истории, головнями, дымом и кровавым паром.

Страсть борьбы и мести, вся воля, весь разум, все вспыхнуло в нем с такою страшной силой, что он в одно мгновение словно возвелся в какую-то необычайную степень, близкую к взрыву.

— Стой, собака! Не смей топтати! — прохрипел он и страшно сверкнул глазами.

Заброта остановился.

— Га?.. Ага!.. — как-то иступленно агакнул он, раскрывши рот, и повернулся к Запорожцу.

И бросились они на проволоку еще раз, уже молча, ударились грудью, обнялись, и тут только Заброта почувствовал, что он погиб.

Это был уже не тот Запорожец. Слово железными клещами впился он в Заброту, обхватил его, оторвал от земли, поднял, крикнул и, тяжело дыша, изо всех сил рванул его на себя и прижал горлом к проволоке.

Не выдержала проволока, порвалась. Тогда, схватив порванную проволоку, Запорожец закрутил ее вокруг Заброты и завязал на его жилистой шее смертельный узел.

Потом он кинулся на проволоку. Железные колючки впились ему в босые ноги, в руки, в грудь. Они раздирали в куски его тело, но он уже не замечал. Он вырвался на волю.

— Гальт! — гаркнул из-под дерева Людвиг Крауз и, торопливо вытягивая из деревянной коробки маузер, бросился к Запорожцу. Он не ожидал такого поворота действия. Запорожец стоял уже на ограде.

— Гальт! — крикнул еще раз, уже возле самой проволоки, и прострелил обе щеки Запорожца почти в упор, навывлет. Стрелять вторично ему уже не довелось. Молниеносным прыжком Запорожец обрушился на него сверху, опрокинул и убил одним ударом кулака в ухо. Удар был такой силы, что офицер умер мгновенно.

Но Запорожец не мог уже остановиться. Выплюнув офицеру в лицо десяток своих зубов, он бил его по мертвой голове с нечеловеческой силой.

Загремели выстрелы. Тогда Запорожец схватил офицерский маузер и автомат Заброты и выпрямился.

— Поднимайтесь, гей! Кто хочет жить, вылезай из могил! Вставайте, люди!

— Гальт! — кричали немцы, выскакивая из караульной.

— Не тикайте, дядько! Стреляю! Что вы делаете? Не тикайте, стрелять будем! — кричали полицейские.

- Разгибайте спины! Разрывайте проволоку!
- Не тикайте, а то пропали мы!
- Гальт! Гальт!
- Ура-а-а! — загремело в лагере.
- Вперед, братья! Ура-а-а!

И вылезло из могил, из пещер, из ям все, что было за проволокой, — все разогнулось, встало и бросилось на проволочный забор с такой силой, что он упал в одну минуту и погруз в песок под тысячами ног.

— Свобода!

Уже передние ряды достигли кустов, только ударили вдруг из автоматов в самую людскую гущу. Множество людей покатилося со стоном на землю. Кое-кто в смятении остановился.

— Не останавливайтесь, не стойте, пропадете все! — гремел Запорожец. — Слуша-а-ай!

Такого еще не видели ни украинская луна, ни звезды.

Запорожец один уничтожил половину немецких автоматчиков. Для него словно не существовала темнота. Он видел всех и всё.

Он выводил людей на волю, туда, где было зарыто оружие.

— Назад! Назад! Стреляем! Огонь! — ревели полицейские.

Никто не отступил. Ни одна душа, — так хотелось жить. Прыгали с обрыва в Десну даже те, кто сроду не плавал, и, не умеючи, переплывали, перелазили Десну, удивляясь своей необычной власти над водой.

Только некоторые, у кого от голода не хватало сил или кто был ранен, те не смогли победить своего неумения плавать. Они погибли в помутневшей Десне, не замечая, что они тонут. До последнего мгновения казалось им еще, будто летят они на свободу, и радость не покидала их до самой смерти.

И только кое-где показывалась из Десны трудовая рука, как бы посылая живым свой последний привет:

— Прощайте... потопаю...

Олеся и Христя металась по тесным местечковым проулкам возле станции. За ними гналась немецкая стража. Вот она загнала их в тушик и схватила.

— Вы почему не хотите ехать в Германию? — спросил станционный пристав, когда их привели в участок.

— Так теперь и здесь Германия, — сказала Христя.

— Да. Но вам здесь нечего делать. Здесь не будет ни фабрик, ни заводов. Всё там. Нужно там работать, чтоб скорее победить врага.

— Какого?

— Красную Армию.

— Так они ж свои.

— Разденьте их и дайте по двадцати горячих.

Жандармы кинулись к девушкам.

Они снова спрыгнули с поезда на ходу. Они долго бежали по полям, оврагам, долинам. За ними гнались. Они падали и снова бежали. По ним стреляли. Выбившись из сил, они стали, подняв руки вверх. Никто их не жалел.

Они снова двигались в поезде с другими девчатами, коровами, конями. Бесконечными поездами увозились на запад пленники украинской



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ»

Центральная Украинская студия кинохроники, октябрь 1943 г.

«Сколько преступлений совершили немцы в этом городе и каких преступлений! <...>
Сколько <...> висело в Харькове повешенных, сколько было расстреляно, сколько замучено...»

земли. Остановился эшелон на маленькой, обгорелой станции рядом с другим длиннейшим эшелонном, что тоже тянулся на запад.

Из товарных вагонов выглядывали желтые, измученные, небритые, битые люди, военнопленные из концентрационных лагерей, окруженцы, дезертиры и просто несчастные, лишенные свободы и закона, невольники тяжелых и опасных работ в Германии.

— Здорово, девчата! Откуда будете? Чьи? — спросил через окно молодой чубатый парень. Он не утратил еще молодецкого форсу. Любил он девчат, да и песни знакомые. Вспомнилась ему улица, веселые ласковые девчата и песни на колядках, и звездные ночи, и ясные зори...

— Чьи будете?

— Немецкие! — сказала Христя.

— О?!

— А ты думал твои, сукин ты сын! Шут! Дезертир вонючий!

— У, подумаешь, немка! — обиделся парубок. — Да мы таких, как вы..

— Что? Хам ты проклятый!

— Вот то самое.

— Что? Побросали для немецких бардаков, сукин ты сын, раб!

— Иди ты, барахло... я пленный, — опешил «кавалер».

— Ух ты! Пленный! А почему ты пленный? Крови испугался? Защитник родины! «Чьи вы девчата?..» Кавалер! У, гадина! — Христя дрожала от ненависти.

Всю свою боль и протест против беспросветной действительности, в какую ее ввергли эти «пленные», беспечные бездельники, весь гнев своей горячей натуры обрушила она на невольников. У нее не было к ним ни жалости, ни сочувствия. Дурацкий вопрос и шутовской тон возмутили ее. Вагон стоял перед нею, как образ не только беды и несчастья, но и смутной какой-то, казалось ей, вины.

Немецкая стража с удовольствием слушала эту перебранку обездоленных людей и смотрела с презрением на оба вагона.

— Да брось, Христя, перестань,— сдерживали Христю подруги.— Эх, стыда у вас нет,— упрекали они мужчин.

— Дезертиры! — кричала Христя.— Как вы смеете смотреть мне в глаза?!

— Иди ты!..— огрызнулся кто-то из мужского вагона.

— К немцам еду в неволю, будьте вы прокляты, нехай! — кричала Христя уже на ходу поезда, высываясь из окна вагона.

— Как я ненавижу их, Олеся,— сказала она, обернувшись к Олеся, и упала на нары.— Чтоб так опуститься!

— Христя!

— Зачем же они бежали, скажи мне? Зачем они бросили нас так легко на поругание врагу? Почему не умерли они в боях, чтоб я плакала и молилась на них?

— Так, говорят же, вся Европа сдалась,— сказала Олеся.

— Так то Европа, а то мы... Ай! Ну, где их гордость? Где их мужество? Кто простит им это? Скажи мне.

— Это, говорят, отступление стратегическое.

— Куда? Пропали мы теперь, пропали, что, неправда? Скажи мне, Олеся, правда, правда?..

Христя засыпала Олеся сотнями самых болючих вопросов, что не давали ни одной девушке покоя, что мучили их и доводили до поступков отчаянных и ужасных. Этими вопросами, словно отравленными стрелами, были ранены измученные их сердца и разум.

— Что ты сказал той дивчине, подлюга? — спросил «пленного» кавалера хмурый, высушенный мучительным внутренним огнем Степан Сорока.

— А пусть не...

Сорока ударил «пленного» изо всей силы в ухо так, что тот, как сноп, повалился на нары.

— За что ты бьешь человека? — разгневался один из невольников.

— Какого человека?

— Зачем человека ударил?

— Человека? Тут нет человек. Тут рабы,— глухо проговорил Сорока.

— Какие рабы? А ты слышал, что она ему сказала? — возмутился другой гордый невольник.

— Для нас нет уже оскорблений... для вас и для меня...

— Олеся, я ненавижу их за поганую войну,— шептала Христя, прижавшись к Олеся.— Зачем они бросили нас?

— Христя...

— Что, неправда?

— Неправда... Правда, да не вся. Это только половина правды,— сказала Олеся.— Да и дело вовсе и не в том, кто больше или меньше виноват.

— Ну, а в чем же?

— В несчастье. В роду.— Олеся наклонилась к Христе и взяла ее за руку, как больную свою сестру.— В нашем роду. Мы женщины, Христя, мы матери нашего народа. Нужно все перенести, нужно родить детей, чтоб не перевелся народ. Посмотри, что делается. Множество миллионов гибнет. За это ж они умирают, наши, как бы там ни бились. Я верю, Христя, верю! Ни за что не будет по-немецки, ни за что!

Олеся почти выкрикнула последние слова. Глаза ее светились глубокой верой в жизнь, в торжество добра и победы. — Я верю! И ты верь, Христя. Они тебя душат, а ты верь! Они тебя бьют, а ты верь!

— Олеся, если у меня родится немецкое дитя, я его задушю! — вдруг сказала Христя, отвечая на свой нестерпимый вопрос.

— Христя, ты?..

Христя упала на нары.

— Германия! — кричала девушка в окно вагона.

— Последняя украинская станция, — сказал кто-то в приоткрытую дверь.

Заплакал, затужил вагон. Олеся и Христя взглянули друг на друга.

— Слышишь? Чужая земля...

— А, проклятые, проклятые!..

Плакал вагон.

— Прощай, Христя! Прощай, я плавать не умею! Что ж делать, Христя?! — тужила Олеся, заломивши руки, бегая вдоль берега речки в камышах.

Христя переплывала речку. Она была уже на середине.

— Они уже бегут ко мне, Христя! Я чувю их свист! — кричала Олеся. — Мамо, матинко, Василь! — Олеся оглядывалась вокруг.

— Ага, вот она! Бежать?

Три немецких жандарма схватили ее и оторвали от земли. Олеся вырвалась от них и припала к земле. Она хотела взять горсть земли. Они схватили ее за руки.

— Дайте мне хоть горсточку земли! Прошу вас!

— Чего?

— Родная земля моя!..

— Это наша земля, украинская дура, — процедил сквозь зубы жандарм и повалил Олеся. — Отойдите...

Страшно отомстил фон Крауз за смерть своего сына. Он собственноручно перестрелял всех полицейских, кроме двух — Ивана Гаркавенка и Устима Товченика, которым удалось спрятаться в кустах. Сожгли хату Запорожца, за ней хату сына, брата. Потом немецкие батраки, ремесленники и клерки бросились к хатам всех, кто был в партизанском реестре. Клали семьи на пол в ряд, от велика до мала, до грудных детей — и расстреливали, поджигая хаты. Вешали, рыча и смеясь от клинической страсти. Гонялись за женщинами, отнимали детей и бросали в огонь, и женщины, чтоб не жить уже на земле, не видеть, не проклинать, не плакать, прыгали в огонь вслед за детьми и сгорали в пламени страшного немецкого суда.

Высокое пламя полыхало в ночи, грецало, взрывалось глухими взрывами, и тогда огненные соломенные пластины, словно души погибших гневных матерей, уносились в темную пустоту небес. Повешенные смотрели ввысь со страшных своих виселиц, раскачиваясь на веревках и отбрасывая на землю незабываемые чудовищные тени. Горели улицы. Горело всё село. Всё, что не успело бежать в лес, в камыши, в потайные ямы, — всё погибло.

Не стало прекрасного села. Не стало ни хат, ни садов, ни добрых ласковых людей. Одни только печи и печница белели среди пепла и угля да кое-где висели обгорелые трупы на столбах или грушах. Некому было ни плакать, ни кричать, ни проклинать.

Светало. Тихо. Но вот промчались по мертвой улице два всадника туда и назад. В сгоревшее село въезжал небольшой конный партизанский

отряд. Видно, издалека прибыли народные мстители. Коня были утомлены, в мыле. Только всадники не знали усталости, держа наготове оружие и зорко оглядываясь по сторонам. Стали. К одинокой кринице под вербою, где Олеся воду брала, подъехал Роман Запорожец, командир партизанского отряда.

Долго гулял Роман по Украине. Много мостов взорвал, поездов, военных складов. Тысячи немецких оккупантов проклинали свою жизнь за одну-единственную краткую встречу с партизаном Запорожцем. Не многие бы тополевы узнали в нем мягкого, веселого Романа: суровая борьба и невиданные бедствия народа и выполнение самых суровых повелений истории наложили на него свою жестокую печать. Это был воин, бесстрашный и суровый народный мститель, подобный прадедам своим, имя которых он носил. За его голову немцы назначили высокую цену.

И вот, пробираясь в глубоком рейде, заскочил Запорожец в родное село.

Родное село! Чье сердце сына или брата не бьется в груди? Не рвется вперед? Не млеет в тревоге — где вы, где вы?

— Гей! Кто живой? Отзовись! — глухо закричал Роман.

Никто не отозвался.

— Гей, кто в поле, отзовитесь!

Не отозвалась ни одна душа в поле.

Только одна душа отозвалась. Когда подошел Роман к погребу и, открывши дверь, повторил свой клич в черную яму, отозвалась из ямы душа матери. Кинулся Роман в яму.

— Мамо!

Посветил фонариком и увидел среди трупов свою мать.

— Сыночку!.. — и умерла.

На утро поднялся весь район.

— Партизаны!

Фон Крауз схватился с кровати и задрожал от страха. Спрятаться? Куда? Задрожал дом от взрывов бомб. Запорожец уже врвался в город.

Немцы бежали, отстреливаясь куда попало.

Молодой народ шел в партизаны, в лес, и матери благословляли сынов своих на труд и грозные бои, на жизнь в лесах и болотах.

Бежали полицейские в тайные берлоги и овраги.

Вот так, однажды где-то за селом в ровчаке под лесом пятеро полицейских пили водку.

Ну, товарищи полицейские курвы, пропали мы. Будьте здоровы!

— Да иди ты!

— Болячки наживешь, пропали к чёртовой матери! Ну что его делать?

— Не знаю. Растерялся! Ну, будем живы! Закусывай... Проклятые фашисты, проклятые!

— В партизаны надо тикать...

— Эге. Пойди!

— И пойду!

— Ну и обсмалят, как кабана.

— Да ну? От жизнь, таку его...

— А ты, Макар?

— Не хочу.

— Ты ж говорил, что пойдешь.

— Я раздумал. Где наша армия? Может, где-то на Урале еще. Шутка сказать, когда она вернется! Так я это дурак буду тебе таскаться по лесам в партизанах, как волк, а вы меня будете гонять.

- Кто?
- Подожди. На, выпей.
- Не хочу.
- Слышь?
- Стой!
- Та иди к чертям! Я думаю, вот, в полицейских с полгода еще покручусь, а там убью десяток фрицев, да и в партизаны, когда армия будет подходить!
- От сволочь.
- А ты? Подумаешь, идейный.
- А я сейчас пойду.
- Ну иди, попробуй.
- Ну и попробую. Думаешь, тебя испугался?
- Ты смотри мне.

В кустах стояла партизанская застава.

- Стой!
 - Ай!
 - Тихо!
 - Не пугай!
 - Куда идете?
 - До партизан. А не вы это будете?
 - Ну?
 - Сыночки мои! Примите моего хлопца к себе. Умоляю вас. Пропадет хлопец.
 - Чего?
 - В полиции служит... Голубчики...
 - В полиции?
 - Эге. От беда! Ну и что же его делать? Я, говорит, мамо, пошел бы в партизаны, так боюсь. Так, говорит, я их боюсь! Зарежут или обсмеют, как кабана. Так я вот...
 - А где он?
 - А не тронете?— Старая Одарка Товчениха пристально всматривалась в партизан.
 - Да нет, если не провокатор, помилуем.
 - Голубчики, сыночки мои, ой спасибо вам... Устим! Иди сюда! Полицейский Устим Товченик осторожно вышел из кустов.
 - Иди, говорю! Чтоб тебе ноги поотсыхали!
 - Здравствуйте!
 - Шапку сними, проклятый! Подожди, я тебе покажу полицию!
- И Товчениха начала бить палкой своего ледащего полицая под веселый смех партизан.
- Ну, кажи!
 - Простите, товарищи! Клянусь вам, что где бы я только ни встретил фашиста чи националиста, на ключья буду рвать.
 - Ну, ладно. Ради матери уже примем.
- Полицейскому Ивану Гаркавенко, тоже перебежавшему к партизанам через несколько дней, не сразу повезло. Его не хотели принимать. Партизаны только что вышли из боя. И разведка принесла им горькие вести о немецких зверствах и грабежах. Обступив Гаркавенка, они смотрели на него грозно и враждебно. Они пронизывали его гневными своими глазами, казалось, расстреливали его каждым взглядом.
- К такой матери! Примете такого гада, товарищ командир, воевать не будем!
 - Что за бардак!
 - Всякую гадину, изменников принимать!

- Шпионы немецкие лезут в партизаны!
 — Геть! Расстрелять сволочь!
 — Повесить! — гудели партизаны.
 — Помилуйте, братья!
 — Какие мы тебе братья, полицейская сука?! — гневался новоиспеченный партизан Устим Товченик.
 — Устим!
 — Я тебя не знаю!
 — Так это ж я, Устим!
 — Не знаю!
 — Товарищи, не будьте такие жестокие! Будьте ж люди!
 — Ага! Людскости захотел. Мы уже не люди здесь! Мы бродим, как звери, в лесах и болотах и не знаем, где голову прислонить!
 — Так и я не знаю.
 — Молчать! В облавы ходите на нас! Отцов наших убили, матерей, жен, детей!
 — Товарищи...
 — Молчи... Где мои дети?
 — Верни мне мать!
 — Кто моего батька сжег?
 — Товарищи, так и у меня сторело всё... Батька убили, жену погнажи в Немеччину. Кажут, плакала и проклинала меня и всё на свете, товарищи. А я брожу зверюкою в лесах вторую неделю.
 — Дослужился, полицейская собака!
 — Помилуйте! Вы думаете, я продался?
 — А что?
 — Меня принудили! Разве я виноват, что я полицай?
 — Мы тебя уничтожим не за то, что ты полицай.
 — А за что?
 — За то, что ты плохой полицай!
 — За то, что ты, мерзавец, народ угнетал!
 — Так, товарищи, нету ж хороших полицейских. Служба ж хамская!
 Я ж не хотел, ей-богу... Устим, скажи!
 — Я тебя не знаю!
 — Вот чтоб я проклят был! Чтоб я проклят!
 — Брешешь, гад! — закричали партизаны и начали его бить.
 — Ей-богу, правда! От ей же богу, правда! Устим, говори же, сукин сын, не бойся!
 — Я не знаю тебя!

Когда перед ним взвели стволы винтовок, он упал перед ними на колени, и, схватив горсть земли, заплакал:

- Клянусь святой, родной нашей землею! Вот чтоб я подавился ею, гляньте! — он начал есть землю, обливаясь слезами.
 — Тато, тато, голубчик мой сизый! — тужил он перед смертью.
 — Подождите стрелять, стрельцы! — вдруг послышался голос из леса.

Партизаны оглянулись. К ним подходил в сопровождении двух партизан какой-то человек. У него были завязаны глаза.

- Шумят леса стрельбой, шумят, — сказал он, когда его поставили в партизанский круг. — Свет ты мой убогий! Где пролилось на тебе столько крови, как у нас на Украине? Где столько плача, криков, разлук?
 — Снять повязку! — приказал комиссар отряда.

Сняли повязку — Лаврин Запорожец...

— Запорожец?! Товарищи, смотрите — тополевы староста! — закричал полицейский Иван Гаркавенко. — Людоед проклятый! Товарищи партизаны, это ж он людей в ярма запрягал!



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ...»

Центральная студия документальных фильмов и Украинская студия кинохроники,
май 1945 г.

«Двести тысяч горожан города (Киева) расстреляно, замучено, повешено, отравлено
в душегубках. Двести тысяч...»

— Ага, уже тут? Ну, слава богу,— сказал Запорожец, взглянув на Ивана Гаркавенка.

— Мироед!

— Помолчи, дурак... Здравствуйте!

— Кто такой? — спросил комиссар.

— Да тот же мироед, что вам людей прислал... Что-то никого не вижу,— оглядывал Запорожец партизан.

— Каких людей?

— Брешет! В Немеччину отправил полсела! Дочку свою продал в рабство! — закричал Гаркавенко.

— Постой, постой! — сказал комиссар отряда. — Запорожец?.. Людей твоих нет и дочки нет. Не знаем.

— Нет? Знаю, что нет... — страшная правда схватила Запорожца за горло. Ему нечем стало дышать.

— Иуда!

— Как ты здесь очутился?

— Не понравилась служба. Подал в отставку. Вот сторож,— показал Запорожец на Гаркавенка. — Он все вам расскажет.

— Людей в яра запрягал?

— Запрягал.

— Зачем?

— Чтoб злее были.

— Чтo?!

— В неволе зло — великое дело.

— Каин.

— В немецкую неволю продавал?

— Продавал.

— Дочку продал?

— Продал.

— Довольно.

— Расстрелять пса!

— Напрасно. Я б не стрелял, — спокойно и даже равнодушно сказал Запорожец.

— Да? Так научи нас, палач, что с тобой делать? Повесить, сжечь, за копать в землю? Скажи, какой платы хочешь ты от нас за детей, за отцов наших?

— Говори! Выбирай кару, сукин ты сын!

— По какому закону судить тебя?

— Я бы хотел, чтоб судили меня по закону народного бедствия, — тихо и отчетливо промолвил Запорожец.

— Что?

— Много нарубаете дров, вижу по вас. Кто тут самый старший?

— Я, — сказал молодой командир партизанского отряда Грицко Гулак.

— Так вот что, хлопче...

— Помолчи! — разгневался Гулак. — Разговаривать мне будешь, гад!

— Народного закона захотел!

— Да!

— Творец народного горя хочет закона!

— Не творец, а жертва.

— Ловко, фашистский прихвостень. Полсела, дочку продал, кулак, — обратился Гулак к партизанам. — Вот оно пламя классовой борьбы в мировой войне!

— Иди ты к чёртовой матери с такой борьбой, — глухо сказал Запорожец.

Он понял, что пришла его последняя минута. И оттого все стало для него уже непоправимым, недоказуемым, все чувства его пришли в смятение, всё знание, всё, чем он жил, гордился, что возвышало его сознание. Он был почти безумен.

— Он с ума сошел перед смертью, — сказал Гулак партизанам.

— А, по-моему, вы помешались! <...> Убивайте, прошу вас. Убивайте, ну! Доставьте радость полковнику Краузу. Соблюдайте чистоту линии! — Терпкая горечь и боль прозвучали в словах отца пяти сыновей.

— Что он мелет?

— Народные мстители! Разве то, что случилось со мной, с селом, не тяжелее смерти во сто крат? <...>

Партизаны задумались. Много глубоких мыслей, воспоминаний и чувств вызвала в них эта странная речь. Перед их духовными взорами возникла вдруг вся Украина в огне, во множестве своих страданий и тяжелых противоречивых трагических столкновений. Великая, несчастливая земля!

Вдруг послышались крики. Показались всадники, быстрые, как ветер с востока.

— Товарищ командир! Партизаны из-за Днепра!

— Ура-аа! — загремело по лесу.

К Гулаку подлетел на вороном коне Роман Запорожец.

— Здорово, товарищи! Что за Каин под деревом стоит?

— Батько твой, сынку! — крикнул Лаврин, увидев своего сына. — Немецкий прихвостень!

И Лаврин Запорожец упал на землю почти без сознания.

— Нумер цвай таузенд зекс гундерт ахт унд фирциг! Форнаме — Галька! Плятц! — выкрикивал военизированный фашист Курт Рихтер.

Это был толстый, розовый, свиноподобный немецкий человек. Несмотря на полноту, он был юркий и живой. Вся его фигура, движения, льстивая усмешка и лексикон выдавали в нем мелкого лавочника или приказчика. Возле него стояла голодная, измученная горем украинская дивчина. Она смотрела на рабовладельцев, съехавшихся со всего Берлина и его окрестностей, на страшный этот рынок рабов, и ей казалось, что все это сон. А за ней стояли такие же обездоленные ее подруги, полураздетые и битые.

— Майне дамен унд герен! — галдел Курт Рихтер скороговоркой лавочника. — Вен зи волен, дас ист бесте украинше медхен. Их габе шон феркауфт гойте фир гундерт штук!

— Фон вельхе штат?

— Чернигов!

— Найн! Ес гейтс дас ниht! Дас шрекliche льйте!

— Бите, польтавка!

— Нур польтавка!

— Бите шен! Олеся! Ком гер! — суетился Рихтер. — Зо, бите. Форнаме — Олеся, польтавка?

— О!

— Ах!

— Польтавка?

— Йа! Абер дас костет етвас тоер! Дас ист прима квалите, бите шен, майне герен. Зеен зи маль. Повернись... зо, бите шен! Дас ист райне славянише вайблихе шенгайт, ниht вар! Мит файне бруст унд фигур, ниht! Мит... унд зо вайтер, ха-ха-ха!.. Повернись. Так. Еще раз. Раскрой рот. Ну! Унд дан майне герен, дас ист нох дивчина, ферштеен зи?

— Ах, ду бист нох дивчина?

— Нет, я не дивчина, — сказала Олеся.

— А, шаде!

— Я изнасилованная вашими солдатами жена...

— Ты не можешь жаловаться на наших солдат. Ты завоевана. Солдаты имеют свой интерес.

— Кто муж?

— Ваш враг. Боец Красной Армии.

— Армии? — смеялись рабовладельцы. — Армии? Где она? Нет вашей армии. Капут. Всё!

— Врете.

— Ну, большевистиче сука!.. Что она может делать?

— Всё, — сказала Олеся.

— Алес!

— О!

— Она поет. Майне герен, она чудесно поет! Пой!

— Я не хочу петь.

— Почему она не хочет петь?

— Я хочу плакать.

— Она хочет плакать.

— А... СпоЙ печальную.

— Нет.

— На, на, на! — одна немка ударила ее зонтиком. — Ну?

Летіла возуля через мою хату,
Сіла на калині та й стала кувати...

Немцы и немки подходили к Олеся, трогали ее руками, поворачивали. Олеся, казалось, не замечала никого, словно ее не было здесь, на этом гнусном торжище невольников. Она была на Украине. Она улетела к отцу, к матери, к Василию, которые где-то далеко-далеко проли-

вали свою кровь за родную землю. Она чувствовала, что эта ужасная действительность не может продолжаться долго, иначе мир должен угаснуть, но действительность наложила на нее жесткую свою руку.

— Дас майне!

— Фрау Крауз?! Бите шен, гнедике ффрау!

Олеся взглянула на свою госпожу. Перед ней стояла жена полковника Эрнста фон Крауза.

— Василь! — вскрикнула Олеся, словно проснувшись от жуткого сна.

— Как у меня бьется сердце... Как у меня бьется сердце... Олеся! Как у меня бьется сердце! Ай!.. — стонал Василь.

Он лежал в полевом госпитале на операционном столе. Сестра держала его голову. Над ним трудились хирурги. Позвякивал хирургический инструмент. Где-то ревели орудия, и стены госпиталя дрожали от взрывов бомб.

Василь выпустил автомат и со всего размаху упал на землю. Он попробовал было еще подняться, но его начало вдруг рвать, и он потерял сознание.

Его положили на стол. Он слышал, как стонали вокруг раненные и кричали, вырываясь на страшных своих хирургических столах.

— Как бьется у меня сердце, Олеся... Как у меня бьется сердце... Олеся, ай-ай-ай! Как у меня бьется сердце... — кричал он в бреду.

Хирурги резали растерзанные его мускулы, соединяли кости, шпивали его, торопясь изо всех сил.

Они трудились над ним и над его товарищами день и ночь, окровавленные и серьезные.

Санитары подавали им раненых, сестры подносили хирургические инструменты. Кости раненых трещали под обценьками* хирургов.

Санитары поднимали его с хирургического стола.

Товарищи вытаскивали его из пылающего танка через люк. Рвались мины совсем недалеко. Земля тряслась от взрывов и лязга железа. Он был ранен снова. Его нельзя было узнать.

Глаза лезли у него из орбит от дыма и страданий. Он был обожжен. Пролетали мимо танки. Он был обожжен. Сжав зубы, он молчал, пока не крикнул: «Ай!».

Его положили на операционный стол. И снова трудились над ним лекари, бессонные и злые, словно лютые мясники. Они кричали на сестер милосердия и ругались скверными словами, проклиная инструмент, несправляющихся помощников и всё на свете.

— Олеся, как у меня бьется сердце, Олеся, как у меня бьется сердце, Олеся, сердце... Ай, сердце... Вперед! За Родину! — кричал он в бреду под ножом.

* обценьки — клещи (укр.).

— За Родину! Вперед! — махнул рукой Василь, высунувшись из танкового люка.

Ринулись танки в бой.

— Следующий! — кричал хирург.

Василя положили перед хирургом. На лбу знакомый шрам. Лицо замученное, но спокойное и даже усмехающееся. Он в глубоком сне. Над ним и вокруг него безумствовал гром канонады.

Прошло лето. Белый танк горел на снегу среди развалин. Василь лежал перед танком на снегу вдвоем с товарищем, поливая противника из автомата.

Вот он поднялся, бросил гранату и, подорванный взрывом вражеской гранаты, упал на снег.

Василь снова на столе. Снова та же картина. Снова хирурги.

И раненых несут. Множество раненых.

Кипит работа у столов. Стекла дребезжат от взрывов, и слышны пулеметы. Упала сестра от усталости.

— Гей, заберите сестру!

— Нет, чёрт меня поberi! Я хирург до немецкой границы, а там пулемет возьму, обвешаюсь бомбами, бомбами! — кричал седой утомленный хирург.

Громадным взрывом разнесло окна. Все задрожало и сдвинулось с места.

Воздушной волной бросило хирурга к стене.

— Как у меня бьется сердце, Олеся... Где ты?.. Где ты?.. — стонал Василь на операционном столе.

Госпиталь шатался и весь трещал от тяжелого рева войны и стона раненых советских людей.

— Олеся! — фрау Крауз вошла к Олеся в комнату.

Олеся дремала на постели.

— Встань! Ты опять лежишь!

— Я больна.

— Ты написала домой письмо?

— Написала.

— Ты счастлива?

— Да.

— Ты написала, что ты счастлива?

— Да.

— Что у тебя отдельная комната?

— Да.

— Ты написала — жду ответа, как золовей лета?

— Да.

— Ну?

— Не отвечают.

— Расскажи мне о твоём селе... Эмма, ком гер!

Вошла Эмма, невестка фрау Крауз.

— Ну?

— Я уже рассказывала.

— Расскажи еще раз про гору и про речку. Ну! Ах, майн гот, когда уже закончится эта ужасная война? О проклятые большевики, звери! Как наши мальчишки страдают там! Как мне! хочется уже поехать туда,



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ...»

Центральная студия документальных фильмов и Украинская студия кинохроники,
май 1945 г.

«Какие были мастера войны! Какая походка! Как маршировали по Европе <...> Какие пожары освещали их „Драг нах Остен“. Но возвратился ветер на круги свои. Потеряли прежний дух на советских полях. И дерзких молодцов уже нет»

в восточную Германию, Эмма. На горе над речкой будет наш дом. О, ты там будешь иметь работу, Олеся! Ну, какая речка, скажи?

— Речка тихая-тихая! Много лилий. И вербы над водою. А село, как цветник, тоже тихое-тихое.

— Ох, вундербар!..

Олеся заплакала.

— Не надо плакать.

— Руче!

— Ну, тихое-тихое! Ну, вайтер!

Вдруг послышался звонок. Фрау Крауз схватилась за сердце. Како-то зловещее предчувствие проняло холодом злобную ее душу.

— Мама!

— Эмма!

— Ху! Как я боюсь! Ну, вайтер. Село тихое-тихое... Ну, говори...

— Мама! — Эмма распечатала письмо и начала читать.

— О? Руче... Эмма... Руче...

— Людвиг!

— А...

— Мама!

— А-а-а!.. Готесс... Людвиг!..

И старая фрау Крауз выбежала вместе с Эммой из кухни.

Олеся испугалась. Она поняла, что случилось несчастье и что ей не миновать беды.

Немки ревели в спальне, словно помешанные. Но вот рев начал приближаться к кухне. Олеся бросилась к двери, но не хватило у нее сил бороться с двумя здоровыми немками. Ворвавшись в комнатушку, они бросились на нее, как звери. Олеся вырвалась и прыгнула в окно.

Олеся раскрыла глаза. Ей показалось на миг, будто кто-то ее позвал. Она оглянулась. Никого. Тихо. Ясная ночь. Один лишь бурьян вокруг да убогие печища. Она стояла возле родной печи и нюхала пучочек сухих материнских гвоздик, найденных в печурке. Так вот она, родная Тополевка. Вот вербы, криница под горелюю вербою.

«Речка тихая-тихая. И село, как цветок, тоже тихое... Вундербар!» — вспомнила она страшную немку.

Много времени прошло с тех пор, как бросилась Олеся через окно в грозный житейский омут. Много буйных, необычайных ветров носило ее, словно песчинку в пустыне. Много горя и грязи с тяжелых кровавых путей и перепутанных троп прилипло к молодому ее телу и душе. Не раз и не два кричала, терзалась, горела огнем девичья ее совесть под натиском мерзости и неумолимого насилия на широком просторе аморальности и упадка.

Долгие блуждания на чужих дорогах приводили ее не раз в смутное отчаяние, повергая не раз ее в болото отупения, равнодушия и желания смерти.

Зачем я Василю такая, зачем? Куда я иду? Чего я иду? Кто пожалеет меня? Кто я? Не девушка, не женщина, не мать.

Она шла домой. Сила, что несла ее на восток, на Украину, была необычайной. Ее несла мудрая неумирающая воля к жизни рода, то великое и глубочайшее, что утверждает в народе его вечность.

Она была уже некрасива, немолода. У нее были седые волосы и грязные, измученные руки со всеми следами холода, голода, леса, оврагов, земляных ям и нужды.

Не спрашивайте, какой ценой она добралась домой. Ибо тогда вы расстреляете ее за аморальность. Думая, что она жалостливыми выдумками прикрывает легкомыслие свое и распущенность, если и вы сами привыкли к вранью. Тогда станет одной девушкой меньше.



КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ...»
Центральная студия документальных фильмов и Украинская студия кинохроники,
май 1945 г.

«Растаяла офицерская спесь, угасла вера. Потеряны безвозвратно все стратегические планы, надежды, головы потеряны, и страшный кровавый опыт ничего не обещает впереди, ничего»

Или упадете перед ней на колени и горячим своим участием всколыхнете яд воспоминаний. Ничто не изменится. Все было. И может быть самая большая мудрость в таких горьких событиях — следовать природе, пославшей человеку счастье забвения тяжелого в добром времени.

О время! Великий, мудрый художник. Ты несешь на своей палитре не только седину нашу или поднятые носы, или близорукость нашу, или случайные подчас знаки наших геройств, но что-то неизмеримо большее, глубокое и великое, что в синеве будущего создаст блистательной красоты трагический портрет бессмертного нашего народа.

— Кто здесь?

— Я... Кто тут?

— Я...

— Кто я?

— Христя... Олеся?!

— Христя!.. Это ты, Христя?

— Олеся!

— Выходи!

— Выходи ты!

— Ты узнала мой голос?

— Да.

— Это ты?

— Да. Это ты?

Они упали друг дружке в объятия и громко заплакали в бурьяне посреди двора. Старая украинская луна освещала их безучастным своим светом.

— Откуда ты, сестра моя?

— Как ты, голубонька?

— Убежала?

Они всматривались одна в другую и гладили дрожащими руками руки, плечи, щеки.

— Ой!

— Как будто сон!

— Правда?

— Как я плакала по тебе!

— Где ты?

— Кто ты? Оружие!.. Христя! Ты партизанка?

— Нет, Олеся. Не партизанка я. Я жена фашистского палача, — сказала Христя. — Итальянец он, капитан Пальма. Помнишь, как мы разлучились с тобой? Прости меня, сестра...

— Ну что ты, Христя...

— Я слышала твой плач. Мне хотелось тогда утонуться. Ну, как я забыла, что ты не плаваешь?

В тихой речке возле лилий плавала дивчинка лет семи. А другая сидела на берегу, Олеся. Они смеялись обе. Светлое воспоминание о далеком святом детстве промелькнуло перед ними ласточкой и исчезло.

Уже из другой, далекой незнакомой речки выходила невольница Христя в мокрой одежде. Упала на берег посиневшая. Ее рвало водой, пока не укрыла ее ночь, бессильную, полумертвую.

Она стояла на улице небольшого городка. Она была хорошо одета. Она была чем-то напугана. К ней подошла какая-то незнакомая женщи-

на, гордая злая волчица-немка, и с подчеркнутым презрением ударила ее по щеке. Потом она ударила офицера...

Полковник фон Крауз вошел в штаб карательного отряда темный, как ночь. Это было в небольшом местечке, когда-то красивом и тихом, славном своими садами и песнями.

Фон Крауз подошел к окну. Где-то горело. Пламя то взметалось огромными языками, то угасало, потопая в дыму, то рвалось от ветра во все стороны с глухим гудением, и офицерские тени металась по стенам хаты, как зловещие привидения. Казалось, зашатался весь мир. Звонили, будто бы, колокола, что-то кричало истощенным криком и тархтели автоматы.

— Пальму!

— Капитан Пальма!

Капитан итальянского карательного отряда Антонио Пальма быстро вошел и стал посреди штаба.

— Капитан Антонио Пальма!

Фон Крауз оглянулся и с омерзением смерил его глазами.

— Это вас ударила вчера по морде женщина на улице?

— Да, она меня ударила...

— По морде. Кто она?

— Немка. Туристка.

— С кем вы шли?

— Со своей женой.

— Неправда.

— Правда.

— Она ее тоже ударила по морде?

— Да.

— А вы что? Почему вы не застрелились? Почему вы?.. Кстати, кто ваша жена?

— Украинка.

— Имя?

— Христина.

— Вы ее любите?

— Нет.

— Зачем вы женились?

— Я должен иметь жену.

— Вам мало здесь всякой твари?

— Я так не могу. Свои отношения к женщине я люблю обставлять красиво.

— Вы мерзавец. Вы аморальное существо. Вы понимаете?

— Да.

— Вы вешаете, расстреливаете, сжигаете их отцов, уничтожаете братьев, а эта аморальная сволочь, эти духовные проститутки, твари лезут к вам в кровать — убийце и злодею. И вы обнимаете эту сволочь? Мне противно на вас смотреть. Я оскорбил вас, вы слышите?

— Меня нельзя оскорбить.

— Что? Почему?

— Потом скажу. Продолжайте.

— Какая мерзость!

— Да, но вы же поощряете солдат жениться. Вы же разложили всю страну.

— Солдаты другое дело. Мы имеем здесь особый интерес.

— А офицеры? Я могу вам назвать... Это тоже?..

— Да. Их потаскухи нам служат. А что делает в этом направлении

ваша синьора?.. Ничего? То-то вы так часто удираете с вашим батальоном. Я должен допросить эту вашу жену. Приведите сюда фрау Пальма.

— Ее нет.

— Где она?

— Она исчезла этой ночью.

— При каких обстоятельствах?

— Когда мы бежали из города, она осталась.

— У партизан?

— Да.

Крауз засмеялся.

— О, теперь я, наконец, понял ваши слова. О, конечно, вашу итальянскую честь ничем уже нельзя унижить после того, как от вас, побитого офицера, убежала ваша синьора. Так я вас понял?

— Нет.

— Что?

— Меня невозможно оскорбить потому, что на земле умерла мораль.

— Как? Кто умер?

— В этой войне не будет победителей и побежденных, а будут погибшие и уцелевшие.

— Бите!

— В этой войне не будет победителей. Будут погибшие и уцелевшие, — повторил капитан Пальма.

— Так... Все слышали? — обратился вдруг фон Крауз к присутствующим.

Стало тихо. Несколько офицеров стояли, словно окаменевшие. Страшная правда, давно уже не дававшая им покоя, была высказана. Досадно, что ее сказал итальянский офицер, которого все ненавидели, как и весь его отряд, за плохую войну с партизанами.

— Немен зи плятц, бите, — сказал полковник и сел.

Сел и Пальма.

— Умштайген!

Капитан Пальма встал и выпрямился. Длинная тень его метнулась по стенам и по потолку хаты.

— Что вы болтаете здесь? Если вы с вашей паршивой итальянской сволочью вынуждаете меня вот уже год бегать от партизан и прятаться от двух бандитов Запорожцев, я вас спрашиваю, что? Что дает вам основания преподносить мне вашу жалкую болтовню?

— Гер полковник!..

— Я расстреляю вас!.. Как вы смеете? Какой провокатор, какой дурень вам это сказал? Га?

— Гер полковник, это сказал фюрер, — ответил Пальма.

— Фюрер?

— Хайль, Гитлер! — вскрикнул горбатый гестаповец.

Все встали, кроме полковника Крауза. Он начал кашлять.

— Вот как.

— Лейзен зи маль, бите, — капитан Пальма подал фон Краузу газету.

— О... Дас гат гезагт фюрер?

— Йаволь!

— Зецен зи... Что вы думаете? — обратился фон Крауз к майору Штиглицу.

— Ферцайген бите, гер полковник, — вскочил майор Штиглиц. — Я не должен думать. Я солдат. Я существую здесь не для размышлений, а для действий. Дизе итальенише гунд может думать что-нибудь, пока я не повешу его..

— Капитан Пальма! — поправил Штиглица фон Крауз таким голосом, что Штиглиц онемел.

— Капитан Пальма,— пробормотал он и затих.

— Немен зи плятц, капитан Пальма,— сказал фон Крауз.

Пальма сел.

— Я считаю, что фюрер Гитлер говорит глупости, ферштеен зи? — сказал фон Крауз громко и выразительно, чтоб всем было слышно.— Нужно быть абсолютно аморальным и легкомысленным неучем, чтоб болтать подобное перед народом в тяжелую годину.

— Вы не имеете права так говорить о фюрере! — сказал гестаповец, двугорбый рахитик, фанатично влюбленный в Гитлера.

— Вы должны остерегаться так говорить, гер полковник! — заверещал он, оскалив зубы, словно хорек.

— Успокойтесь, господин нацист! Я не думаю, что я сегодня должен бояться фюрера за свои слова. Их бин убергаупт дер дойчен кригер унд альте дойчен офицер! Нихт! Если вы уже хотите знать, я не думаю, чтоб сегодня Гитлер... Это он мог позволить себе до Сталинграда, но после Сталинграда, где он погубил цвет нашей нации...

— Истинная правда. Теперь он там здорово хвоста поджал, собака! — послышался вдруг с печи голос Товченика.

Что дернуло Мину за язык, кто его знает. Он словно забыл на один миг, где он находится. Он был большим любителем бесед еще с давних молодых лет. Правда, он почти ничего не понял из всего, что немцы говорили в хатѣ, но безудержное любопытство и фантазия Мины Товченика и страстное желание проникнуть в тайны разговора этих душегубов были так велики, что Мине поневоле начало казаться, будто он уже начал понимать все, что они говорили. Иногда он протирали пальцем ухо, словно оно мешало ему понять до конца этот язык. И вот, наконец, он понял всё. Он услышал в грозной интонации фон Крауза слова «фюрер» и «Сталинград» — и ему сразу все стало ясно и так захотелось вставить в беседу умное слово, что он не сдержался и сказал.

Когда его стянули с печи и поставили перед полковником фон Краузом, который подумал вначале, что это сон или плод его больного, усталого воображения, Мина произнес:

— Я не великой науки человек, никого не убивал и не крал, но раз уже так случилось, что вы меня считаете почему-то партизанским шпионом, воля ваша. А в рассуждении текущего момента я целиком присоединяюсь к вашей думке,— хайль теперь Гитлер покрутится, собацуга!

— Замолчи!

— Молчу. Я что? Я ничего. Моя не понимала, что ваша балакала, ферштеен зи? — заговорил Мина «по-немецки». — Мое дело сторона. Ну что мне вот интересно, интересно мне вот что: чем оно все это кончится? Как оно будет после вас? Поумнеюг ли хоть немного люди или так уже и спустеют в глупостях и зле, как вы.

— Где Запорожец?

— Га?

— Где Запорожец?

— Где куст, там и Запорожец, где лес, там и тысяча...

— А, гунд!

— Вот тебе и фунт! А может он здесь под хатой.

— Кто?

— Запорожец! Или в сенях!.. Или в коморе! Или в полицаях у тебя дурного! Ага!

— Шмицдорфф!

— Йаволь, гер полковник!

— Повесить на двадцать дней!

— А, всё равно не поможет. Ауфидерзейн!.. — сказал Мина.

Двое жандармов схватили его под руки. Потасили.

Когда Мину вывели в темные сени, где было немало итальянских солдат с пулеметами и разной амуницией, он вдруг выпал из жандармских рук на пол, как мешок проса. В этот же миг что-то так сильно укусило одного жандарма за поджилку, что он взвизгнул, словно ошпаренный, высоким, как у девки, голосом и бросился на солдат. Произошла свалка. Кто-то выбежал из сеней в темноту. По ком-то стреляли. Кто-то открыл дверь.

— Руе! Вер ист дорт?

— Бандит бежал!

— Как бежал?

Согнувшись в три погибели, Мина мигом прополз в хату и полез под печь, а оттуда особым ходом на печь, на старое свое место.

— Поймать! Слышите?! Поймать, мерзавцы!.. Расстреляю!

— Расстреляю до ночи, сволочи! — неслись на печь грозные возгласы фон Крауза.

Мина лежал тихо, закрывши рот ладонью.

А два жандарма, бросившиеся вокруг хаты ловить Мину, застрелили друг друга в темноте с перепугу.

— Ах, мерзавцы! — бесился фон Крауз. — Вы знаете, кто это был? Это главный разведчик Запорожца, какой-нибудь дядюшка вашей жены. Фу! Он начинает мне уже снится... Капитан Пальма, повторите еще раз, что сказал фюрер.

— Фюрер сказал, что в этой войне не будет победителей. Будут мертвые и уцелевшие.

— Да. В этой яме можно подумать что угодно... Идите, — сказал фон Крауз, обращаясь к Пальме. — Стойте.

— Да, гер полковник.

— Что вы думаете?

— Я думаю, что мне нужно быть осторожным, — сказал Пальма. — Ваши офицеры ненавидят меня. Меня ненавидят мои солдаты. Пока еще свою ненависть ко мне и к вам они топят в украинской крови. Но дальше...

— Ну?

— Я устал.

— Я знаю, вас ненавидят наши офицеры-высочки. Эта стая распущенных материалистов. Но нужно жить и бороться, во имя жизни хотя бы... Во всяком случае, если уже даже выйдет так, как сказал Гитлер, пусть сгорит вся эта страна, пусть сгинет — уцелеть должны мы!

— Э, нет! — хотел сказать Мина, но на этот раз ему посчастливилось закрыть себе рот ладонью, или, может быть, это так ему показалось. Во всяком случае, что-то не то зашелестело, не то икнуло или кашлянуло на печи и так выразительно, что все немцы притаились, а Товченик с перепугу закрыл даже нос. Это была большая его ошибка. Перестав дышать, он от страха вдохнул много воздуха, который вскоре начал распирает ему грудь. Долго сдерживал Мина неудачный свой вдох, посинел весь и скрючился, но чем дальше сдерживал он свою беду, тем больше вырастала она в груди, пицала, скреблась, щекотала в горле и, наконец, вырвалась наружу величайшим взрывом кашля:

— Кахи!!

Бросились немцы к печи. Но судьба усмехнулась Мине Товченику в последнее, казалось, мгновение. Вспомнил он вдруг слово, действовавшее на немцев, как имя Христово на чертей.

— Партизаны! — крикнул он что было силы.

И действительно, словно в старинном сказании: не успел Мина закрыть рот, как послышалась громкая пальба под самой хатой.

— Партизаны!! — загалдели в сенях оккупанты.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ...»

Центральная студия документальных фильмов и Украинская студия кинохроники,
май 1945 г.

«Весна победы на колхозных полях Украины была необычайна и трудна <...> Не шумели тракторы, не красовались веселые сеялки. Изрытые траншеями, воронками, усеянные минами, стальными черепами, поля великих битв являли картину суровую, драматическую»

— Партизаны! Это ли не бич божий?! — патетично воскликнул фон Крауз и, забежав по хате, словно артист, вовремя выпрыгнул с офицерами в окно.

Через секунду штаб был взорван бомбой.

И когда рассеялся дым и прах жилища, Мина обстоятельно и серьезно, с тонким знанием обстановки, вооружения противника, его численности и морального состояния, докладывал Лаврину Запорожцу и Роману о Краузе.

— Почему ж вы его не убили? — спросил не остывший от боя Роман.

— А, много ты понимаешь!.. Разговор не кончился!..

Когда прокурор партизанского отряда Н. Лиманчук узнал, что партизаны захватили в плен жену капитана Пальмы, он страшно обрадовался и сейчас же заочно присудил ее к расстрелу как подлую изменницу родины. Он недавно прибыл в отряд с Большой земли с высокой миссией вершить в самом пекле борьбы справедливый суд над подлыми отступниками, изменниками, националистами-душегубами и прочим пропавшим людом. Он был человеком высокой, кристальной честности и такого же душевного холода, помогавшего ему не терять, как он говорил, линии ни при каких обстоятельствах. <...>

Узнав, что командир отряда, немолодой уже, хитрый человек не утвердил приговор и пожелал произвести допрос изменницы, Лиманчук, хоть и подчинился приказу, воспринял это как знак партизанской заносчивости. <...>

Когда ее вели на допрос, она еле-еле шла. Все ее молодое тело утратило свою силу и словно растаяло. Она словно падала с огромной высоты

на землю в страшном сознании, что парашют за спиной не раскрылся, и уже теперь ей ни остановиться, ни крикнуть, ни позвать...

Земля неумолимо притягивала ее к себе, земля.

Сотни враждебных глаз пронзали ее презрением и ненавистью. Оскорбительные, страшные слова глушили ее в голову, в спину, в грудь, путались под ногами.

— А, итальянская сука! Куда это ее ведут?

— В расход, гадину!

— О, проститутка, будь ты проклята, нехай!

— Гей, откуда ты, шмара?

— Националистка!

Она шла среди дорогих своих близких людей чужая и враждебная. Она была уже обособленной от них. Их могучая ненависть к оккупантам и ко всему, что связано с их проклятым именем, опустошила ее. Она шаталась.

Взглянув на нее, прокурор Лиманчук сразу же раскусил ее всю. Он увидел в ее глазах злое пламя ненависти к советской власти, какую-то скрытую тайну и темную замкнутую враждебность к себе.

— Националистка?

— Да... Нет.

— Да или нет?

— Я не знаю...

— Выкручиваешься. Не выкрутишься!

— А мне все равно.

— Ты жена итальянского палача Пальмы?

— Пальмы.

— За сколько плиток шоколада ты продалась?

— За одну.

— Дешево.

— Одна цена.

— Ты выродец.

— Нет, таких, как я, много.

— Каких?

— Изнасилованных.

— Тебя изнасиловал Пальма?

— Нет, не только он.

— Для чего ты вышла за него?

— Я не хотела ехать в Германию.

— Почему?

— Боялась смерти. Я бежала. Они меня ловили, били, насиловали.

— Пальма тебя спас?

— Да.

Она отвечала на все вопросы прокурора коротко и правдиво. Ее фатальная откровенность сбивала с толку прокурора и вызывала у него глубокую к ней антипатию. Каждый вопрос прокурора она воспринимала как лопату сырой земли на грудь на дне могилы.

— Ты его шпионка?

— Нет.

— Ты брешь?

— Нет.

— Не бойся... Он истязал тебя, принуждал силой?

— Нет. Он любезный и мягкий.

— Мягкий. У, сволочь! — закричал один партизан. — Палач, сукин сын, вешатель, убийца наших людей! Детей жег на огне, на колы сажал, умывался кровью нашей!.. Мягкий!.. У, гадина!

— Проститутка!

— Да.

— Тихо! — сказал Лиманчук, удовлетворенно взглянув в сторону командира.

Командир смотрел на жену заклятого врага своего с необычайным любопытством и вниманием. Прокурор считал процедуру допроса законченной. Перед народным судом стояло аморальное существо, лишенное самых элементарных гражданских признаков.

— Ты полезла в кровать к врагу, к убийце твоего народа, к грабителю земли твоей. Вот, я вижу его! — Лиманчук начал повышать голос. — Вот он свирепствует целый день! Вечереет... Он приходит домой, смывает кровь, душитя одеколоном, и — мягкий кавалер-любовник! Где твоя национальная гордость? — грозно спросил Лиманчук. — Где твое человеческое достоинство? Где твоя девичья честь в нашу великую эпоху борьбы святой отчизны? Где? Нет? Говори!

— Нет.

— Всё!

— Нет! — повторила она.

И вдруг словно предсмертная молния осветила все ее сознание. Вспомнила она эшелоны, бегство и все, что видела она в огне пожаров — всю Украину, сожженную, разрушенную, обездоленную.

— Слушайте, — сказала она тихо. — Я знаю, что мне не выйти отсюда живой. Что-то мне здесь, — она прижала руку к сердцу, — говорит, что пришла моя смерть, что совершила я что-то запретное, злое и незаконное, что нет у меня ни этой, что вы говорили, национальной гордости, ни чести, ни достоинства. Так скажите мне хоть перед смертью, почему этого нет у меня? А где же оно, людоньки? Род же наш честный.

— Довольно, проститутка!

— Какая я проститутка?! Мученица я! Слезами провожала вас, слезами и встречаю. Товарищ мой, — сказала вдруг Христа совсем другим тоном, словно поняв в последнее мгновение самое главное, — я не признала вас своим судьей. Вы можете меня только уничтожить как позорное, ненужное существо, каким я действительно являюсь. Но это не всё.

— Что? — удивился Лиманчук.

— Если б вы были человеком старым, я о многом бы спросила вас. Почему я выросла не гордая, не достойная и не годная? Почему в нашем районе до войны вы измеряли девичью нашу добродетель, главным образом, на трудодни и на центнеры? Националистка я? Какая?!

— Довольно!

— Заканчиваю... Но вы молоды. О чем вас спрашивать? Я помню вас. Вы проشمгнули в начале войны через наше село. Я наливала вам воду в радиатор. Он очень протекал у вас, и вы ругались. Я плакала тогда и спросила: будут ли немцы в нашем селе? Может быть, я б убежала! Помните, что вы сказали мне? Вы назвали мой вопрос провокационным. И вот я осталась под немцами, проститутка и стерва. Вот вы чистый, а я нет. Вы презираете меня, угрожаете смертью. А я хочу умереть! Хочу! Мне противно. Чем вы можете наказать меня? Меня жизнь уже так покарала, что уже нет для меня кары.

— Товарищи, — сказал Лиманчук, покраснев от гнева и оскорбления.

— Постоите, голубчик, — сказал вдруг командир отряда. — Как тебя зовут? — обратился он к подсудимой.

— Христина.

— Фамилия?

— Хуторная.

— Из Тополевки?

— Да...

— Э, да это ж Куприянова дочка! Хуторного!

— Дяденька! — Христа бросилась к командиру и упала перед ним на колени, обливаясь слезами.

— Тополевская! Ну, смотрите! Нет уже, дивчинко, ни Тополевки твоей, ни Куприяна, ни братьев, — вздохнул командир. — Сожрало лихо... Подождите, я ее сам допрошу, — сказал он своим партизанам и повел Христа в лес.

— Ты не смотри, что они злые, как шершни. Ненавистью только и живем. На завтрак ненависть, на обед и на ужин. Такая уж наша доля. Ничего, дивчинко. Все проходит. И это пройдет. Уничтожим врага, забудется и ненависть, и горе, и снова расцветет земля наша в добре и согласии, и будем добрыми, как были — еще добрее станем.

— Дядечка!

— Всё вижу. Одно только скажи мне, как родному батьку — шпионка ты или нет? Если шпионка, расстреляем тихонько, чтоб не мучиться тебе всю жизнь, ибо это непростимый грех. Никто в мире тебя не простит. Не шпионка...

— Клянусь вам святою нашей землей...

— Нет. Ну, слава богу. А то всё обойдется, дивчинка. Идем.

— Я не хочу жить, — жалобно затужила Христа.

— Понимаю. Есть и на это лекарство.

— Какое?

— Мечь! Выпей, дочка. Оживешь, благодарить будешь. Мы еще у тебя на свадьбе погуляем.

И командир народных мстителей ласково по-отечески улыбнулся.

Светало. Запла луна, и звезды погасли давно. Между бурьянами, лободой и прочей дикой порослью бессмертные подсолнечники поворачивали к востоку свои ясные лики. Было тихо вокруг, так тихо-тихо, и только где-то далеко гудело тяжелым радостным грохотом.

— Вот и всё. Я иду мстить, Олеся, — сказала Христа. Она была бледна от воспоминаний и торжественна. — Они вдохнули в мою душу мечь, и я ожила. Он говорит, командир, упейся, дивчинка, мечью. Вот единственная живая вода твоя. Правда, Олеся! Я иду уже второй день. По дороге думаю, зайду попрощаться с родною хатой. И вдруг ты! Расскажи мне о себе.

— Когда-нибудь расскажу, если нельзя будет забыть.

— Понимаю. Куда ты?

— Я иду на восток.

— Куда?

— Туда. Я так завидую тебе.

— А я тебе.

— О, проклятые!

— У меня другая судьба, Христина. Я мягкая, не воинственная. Во мне зло не держится. Я забываю зло, как дурная. Всё забываю. Жить же надо?

— Слышишь? Гудит... Наши...

— Правда? Это Василь... Он...

— Старый сказал — не за горами суд!

Они прислушались. Где-то далеко на востоке разворачивался великий бой. Гремели орудия.

Немцы отступали через село, бросая на дорогах разбитые орудия, машины. Люди прятались в погреба.

Матери молились в ямах за сынов своих, освободителей.

— Помогите нам, господи!

— Ой, прилетайте, сыночки, прилетайте, спасите нас!

Простирали из ям руки к небу. Материнские очи светились слезами надежды.

А кто не успел спрятаться, того немцы загоняли в грузовики и увозили или просто гнали, как стадо.

Уже поджигали хаты поджигатели.

В хатах-дзотах отстреливались пулеметчики и артиллеристы.

Смертники немцы метались у орудий, сдерживая наступление, пока не смяли их вместе с хатами наши танки.

Войско входило, въезжало в село и мчалось дальше, вперед. Бойцы пролетали на танках, машинах или просто бежали, горячо и громко дыша. Они еще не вышли из боя. Глаза их смотрели далеко вперед и горели лютым огнем. Все они еще были в том иступленном состоянии готовности ежесекундно убить врага или пасть мертвыми, когда человек еще не совсем в себе. Они были словно в каком-то жару.

Но радость победы начала понемногу прояснять человеческие лица. Бойцы уже здоровались с народом и помогали вылезать из погребов и ям. Словно мертвые воскресали, подымаясь из земли. Плакали командиры, не стесняясь своих слез. Плакал и Кравчина.

— Здравствуйте, мамаша! Ну, как же вы тут? Живы?

— Здравствуйте! Христос воскрес! Спасители вы наши...

Из темных погребов и ям, из-под разрушенных печей выползали землянистого цвета, черные, плохо одетые люди. Долго сидели они в погребках, в земле, долго жили по ту сторону дозволенного людскими законами.

Много видели они такого запрещенного для человеческих глаз, что не забудут уже и потомки в веках. Невыразимая печать ужаса и скорби, и того, что лежит за гранью негодования и отчаяния, упала на них, запечатлелась и долго-долго не исчезнет уже, как проклятье судьбы, до самой их смерти.

Много благородного труда, много ласки, добра и доброго согласия нужно принести в жизнь, чтобы как-то залечить душевные увечья и раны людей.

Люди оглядывались среди своих пожарищ, ища глазами хаты, и протирали очи, как во сне.

— Доброго здоровья!

Людам хотелось жить. Хотелось забыть о страшном, по великому закону жизни и несокрушимой силе своего характера хлеборобов, привыкших тысячелетиями к сеянию и жизнеутверждению во всем, что может жить и расти.

Не догорели еще пожары, а люди бросились уже работать. Уже копались в огородах. Женщины доставали из припрятанных узелков разные семена и со страстью сажали их в землю. Какие-то семена мочили в воде, причитая шепотом полубытые молитвы и заклинания на добрый урожай.

— Будьте здоровы, дорогое человечество! — голос пожилого уже человека, Демида Бесараба, дрожал от волнения.

У него в хате остановился штаб. Он угощал дорогих гостей. Чарка дрожала в его руке.

— Вечная память всем, кто принял труд и страх сражений или срам виселицы от руки супостата. А нам всем желаю выполнить жизнь свою трудами и победами на согласие и братство. Пусть же пойдет слава по всему миру про ваше щедрое сердце и богатую кровь, чтоб никто никогда не сказал, что пожалели вы чего-нибудь или испугались. Будьте счастливы, товарищи, хоть небогаты, хоть разорены, ограблены, без капитала, а часто и без крыши, так что негде будет и голову прислонить...

— Так что ж это, товарищи, снова невыдержка? — спросил Бесараб и поник в глубокой печали.

— Прощайте, батько!

— Прощайте!

— Мы вернемся!

Сыны и внуки прощались с Бесарабом. Прощались командиры. Спешили. Плач и отчаяние.

— Где сыновья?! — разъяренный Эрнст фон Крауз ударил Бесараба стеком по голове раз десять. Никогда еще не приходил он в такое бешенство. — Где?!

— Пошли в Красную Армию! — сказал Бесараб.

— Повесить на двадцать дней!

— Вешай, катюга. Теперь уже не страшно. Все равно не выйдешь живым.

Эрнст фон Крауз задыхался от злобы. Он упал. Его подхватили два офицера. Когда Бесараба вывели, фон Крауз обратился к Штиглицу:

— Они уже всё знают.

— Что всё? — подхватил Штиглиц.

— Что?

— Я не понимаю.

— Они знают, что вы болван... Пальма?!

— Йаволь!

— Давайте диверсанта.

Ввели Мину Товченика.

— А! — схватился за сердце фон Крауз.

— Да не пугайся. <Чего> акаешь?

— Фу-у-хх! Ты прав. Я уже тебя боюсь.

— Я вижу.

— Кто ты?

— А ты кто?

— Я твоя смерть.

— А я — твоя.

— Ты взорвал мост?

— Я.

— Каким образом?

— Секрет.

— Я тебя повешу.

— Вешай.

— Думаешь, не повешу?

— Нет.

— Ты что-то придумал?

— Что-нибудь придумую.

— Это феноменально! Фу-х!.. Неужели ты имеешь надежду?

— Да. Я бессмертный.

— Он помешался. — Фон Крауз посмотрел на своих офицеров. — Но Запорожцы уже здесь. Ой... присядь, мерзавец!

— Присел.

— Хм... Ну, что мне делать?

— Могу сказать.

— Ну?

— А ты не нукай, дурачок. Ну... Украина, чтоб ты знал, это ваша судьба. Пока горит, как свечка, Гитлер дышит. Пожар кончится — вытянет Гитлер ножки и вы с ним.

— Гер полковник, что он говорит? — спросил горбатый.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ...»

Центральная студия документальных фильмов и Украинская студия кинохроники,
май 1945 г.

«На борьбу за урожай вышли все живые поколения. Вышел и этот белоголовый, самый любимый и главный, за счастье которого сражаются миллионы отцов»

— Он говорит то, что фюрер думает.

— Эге! Так что живы, пока воюете. И я хотя простой человек, скажу вам — не кончайте своего блицкрига, боже сохрани!

Фон Крауз поднял нагайку.

— Запорожцы близко?

— Ну ближе или дальше... теперь все равно.

— Где Запорожцы?

— Не спрашивай, не скажу. Хочешь, может, перед смертью побить? Бей, потешься, раз уж мера зла перейдена...

— Курить будешь?

— Давай.— Мина взял сигарету.— Запорожцы мне тоже недавно дали бобу. Меньший, Роман... Ой, бедовый, сучий сын! Прямо орел! Ты почему, говорит, не убил Крауза с печи, если ты честный человек? А я говорю, неоруженный. Обратнo ж, кажу, какой же б я был разведчик, чтоб сразу убивал, не узнав разговора противника?

— Ай, нитро... нитро...— застонал Крауз.

Дрожащими руками Штиглиц накапал в стакан с водой нитроглицерин и влил его Краузу в полураскрытый рот.

— Фу-хх! Данке... Ай...— присмирел Крауз, нагнувшись и тяжело дыша.— Штиглиц!

— Йаволь!

— Что вы стоите, чёрт вас возьми? Повесьте это чудовище!

Когда Мину поставили под виселицей на табурет и надели на шею петлю, он взглянул на Штиглица и на двух его палачей и вдруг начал петь фашистский гимн. Пел он громко и вдохновенно. Правда, у Мины был голос не очень красивый, слова он нередко перевирал, но мотив он усвоил неплохо. Капитан Штиглиц и солдаты застыли и протянули правые руки вперед, как лопаты.

— Генуг! Довольно петь! — сказал Штиглиц.

Но Мина не слушал. Он начал петь ещё громче, всматриваясь жадными глазами в божий мир, в деревья, в хаты. Это было единственное его минутное спасение. Этим проклятым гимном он задерживал свою смерть, что легла уже веревкой ему на шею, сползая с виселицы, словно змея.

— Довольно петь, слышишь! — одурел Штиглиц и побежал к Краузу.

— Гер оберст! Он поет!

— Что? Кто?

— Товченик.

Крауз выскочил во двор и бросился к виселице. Увидев Крауза, Мина почувствовал, как петля зашевелилась на его шее.

Холодный пот покрыл его чело. Тогда, собрав последние остатки сил, Мина так весело и громко грянул последний куплет гимна, что даже Крауз застыл, протянув вперед злодейскую свою руку. Из глаз Мины текли слезы.

— Прощай, убогий мир! — казалось, кричал он не своим голосом. Но счастливая доля не изменила ему и в этот, казалось бы, последний раз. Уже когда вытягивал он последнюю ногу, когда Штиглиц начал поднимать руку, чтобы скомандовать палачам, вдруг затарахтели пулеметы, да так близко и громко, что немцы бросились, словно ошпаренные, куда попало.

— Партизаны!

— А, расстосукины сыны! — крикнул Мина вслед убежавшим и, снявши петлю, начал по-хозяйски складывать веревку.

Но не посчастливилось на этот раз старому немецкому волку бежать от Запорожцев. Уже не одним, а двумя отрядами преследовали фон Крауза Лаврин с Романом. И партизанские отряды уже были не те, что в начале войны. Все, что было в отрядах случайного, вялого, лишнего — все было сметено с лица земли: изменники, лодыри, шкурники. Множество бесстрашных загнуло в битвах, замучено в плену. Но то, что выжило и действовало уже против Крауза, тревожило его все больше и больше и не давало покоя ни днем, ни ночью.

Это были люди, которых ничто в мире не могло уже остановить, ни обезоружить, ни утихомирить. Молодые юноши, подростки и старые бабки, и даже девушки, которым в столетиях не снилась никогда такая жизнь, творили в отрядах суровую месть народа.

Уже не помогала Краузу полиция, на которую он так когда-то рассчитывал вместе с Людвигом, втягивая несчастных пленных, окруженцев и даже подростков в ее позорные ряды.

Уже полицейские бежали в партизаны. Сельские старосты тайно помогали мстителям народа, и куда б ни бросался уже Крауз, как ни жег он села, как ни мучил женщин, детей, ничто ему не помогало.

Пропали труды. Рушились грандиозные планы. Как все было красиво. Какие просторы, какая земля...

— Эту землю можно кушать! — вспоминал он погибшего своего страшного сына. Это было так недавно, почти что вчера.

— О мой мальчик! Мое нежное дитя! — скрипел фон Крауз зубами, оглядываясь на бесчисленные солдатские кладбища, заполнившие, казалось, всю страну.

Иногда по ночам он подолгу всматривался в портрет Гитлера, лаская уставшим своим взором дорогие черты его маниакального лица, вопрошая сотни раз судьбу фатерлянда. Ах!

Обманул ли его фюрер, как писали об этом в проклятых большевистских листовках? Поверг ли он весь его род в пучину страданий, презрения,

всемирной ненависти и отвращения людей к его имени? Нет! Великий фюрер не обманул его, фон Крауза, не спровоцировал, не затуманил, не вскружил ему голову. Фюрер — это он сам, Эрнст фон Крауз, его идеальное выражение.

Страстная немецкая душа его вздрагивала. Он вскакивал тогда и вытягивался перед портретом фюрера во фронт, копируя его движения, простирая перед ним громадную свою волосатую руку.

Он писал ему письма, проекты устройства Восточной Германии, расчеты поставок хлеба, сахара, мяса, вырванной шерсти, содранной кожи, живого скота и девушек и подростков.

Один раз, среди огня и дыма непокоренного украинского села, его осенила мысль, которой суждено было увековечить Германию середины двадцатого века. Он предложил фюреру модернизировать уничтожение населения завоеванных провинций путем постройки на востоке заводов для планового сжигания людей на предмет добычи туков и специальных масел и жиров. Он собственноручно сделал чертежи этих предприятий и красочно описал технологию изобретенных им процессов. Он получил за это от фюрера рыцарский железный крест с дубовым венком и возлюбил его за это всем своим пламенным германским сердцем.

Он давно уже перестал заигрывать со старыми работающими украинскими селянами-старостами, вроде проклятого этого Запорожца, погубившего его маленького Людвига. Он творил зоны пустынь, лишённые жизни, беззвучные...

Но не помогли фон Краузу ни четыре построенных по его проекту завода, ни пожары. Все было ошибкой. Война приняла уже характер прямого массового преступления. Человечество стало ниже. И мертвые зоны тоже оказались ошибкой. Они не были мертвы. В них некому было плакать, просить, умолять или стонать. Но в них жила бессмертная ненависть народа. Она подстерегала фон Крауза на дорогах, в канавах, в лесах. Она проникала к нему в двери, в окна, в душу с громом и кровью. Она пронизывала каждый его шаг неутомимой мстью. Она была изобретательна и умна — и ничем нельзя было ее уничтожить. Ничем.

И вот понемногу, день за днем, село за селом, пожар за пожаром, смерть за смертью пришел Крауз к последнему выводу: конец. Конец Германии Гитлера и его, полковника Эрнста фон Крауза, конец.

С момента, когда эта мысль овладела им окончательно, фон Крауз почувствовал, что ему резко начало изменять склеротическое сердце. Участились припадки жабы. Тогда для сохранения душевного равновесия он убрал из своих карательных отрядов итальянцев, словаков, чехов и мадьяр, укомплектовав свои силы только немцами и небольшой кучкой отпетых, испытанных предателей народа, погубивших навеки темные свои души множеством открытых злодеяний.

Но и это не помогало.

Запорожцы преследовали его по пятам. Они начали уже ему сниться. Один раз ему приснилось, как он, полковник Эрнст фон Крауз, стоял связанный по рукам и ногам перед Лаврином Запорожцем, окруженный страшными его партизанами, как повелел Запорожец выколоть ему глаза, отрезать язык, вырезать свастику на груди и на лбу, как простреливал он ему голову, живот, грудь и бросал в огонь горящей своей хаты.

С тяжким стоном Крауз вскочил с постели.

— А, украинская собака! Ты мне будешь сниться, будешь терзать мою душу во сне!

Заметался Крауз по хате, забегал, застучал. Сотни несчастных людей, расстрелянных, искалеченных, с вырезанными на груди и на лбу звездами, сгорели в ту ночь в селе, запертые в пылающих клунах и церк-

вах. Расплатились за немецкий нездоровый сон тяжелыми муками в огне украинские дети.

Фон Крауз перестал уже действовать на Украине во имя жизни Германии. Он действовал именем ее смерти.

— Вы оглядываетесь на партизан! — кричал он крестьянам в одном селе. — Вы ждете нашего отступления! Ну, хорошо. Если уже так, мы уйдем отсюда. Но радоваться нашему уходу здесь будет некому. Огонь!..

Так с огнем и мечом метался по украинским просторам фон Крауз, преследуя Запорожцев, спасаясь от Запорожцев, уходя от них, окружая и давя их, пока, наконец, сам, окруженный, не предстал перед Лаврином и Романом Запорожцами, шатаясь, словно пьяный.

Его не держали ноги, распустились все мышцы живота и кишек. Кровь испарилась из его сосудов, и бледные его губы дрожали от озноба. Он попал в плен. Это было не вполне похоже на сон. У него не были связаны руки и ноги, и глаза его не были выколоты. Он видел всё и, если б страх смерти, поражающий палачей в последнюю минуту их жизни с особенной силой, не сковал все его чувства, он пожалел бы, что не ослеп.

Бой продолжался недолго, не больше двух дней, но был он жесток и кровопролитен, как немногие бои в немецких тылах. Краузовы молодцы сражались с отчаянным мужеством, но когда мужество покинуло их, они вышли с поднятыми руками вперед, спотыкаясь среди трупов с остекленеными глазами, с плачем и клятвами, падая перед партизанами на колени.

— Капут... Германия капут... — подобострастно улыбаясь, блеял Штиглиц, моля о пощаде.

— Их бин коммунист!

— Бите шен, ради бога... драй киндер!

— Товарищи, капут, Гитлер капут! — бормотали каратели.

— Это мы и без вас знаем, гады, — отвечали партизаны. — Предатели народа, выходи в сторону!

Предатели народа стали отдельной кучкой, и, оглядываясь с одинаковой ненавистью на партизан и немцев, томительно и тяжело икали, жаждающая скорейшей смерти.

Фон Крауз видел всё. Величайшим усилием своей воли он на какое-то мгновение взлетел было над ничтожеством своего положения и погрузился в сферу высокого ощущения великой трагедии фатерлянда. Торжество смерти, призванной Гитлером для реконструкции Европы, он ощутил вдруг в предельной мере. Здесь все было предельно — изуродованные ожесточенные трупы и ползающие перед бандой Запорожцев железные его рыцари, словно падшие с высоты небес дьяволы, и сами Запорожцы. Да, и они, потрясшие его несокрушимостью своей воли и страсти. Смерть обжигала дыханием своим каждое лицо. Сам земной шар, казалось, вздулся под Краузом кровавым парывом. Он постиг высоту непередаваемого и в непередаваемом волнении, тяжело дыша, оглядывался по сторонам. У него была рассечена щека, и зеленые мухи уже ползали по запекшейся его крови. Вот он — великий конец!

— Подсудимый Крауз Эрнст Фридрихович, житель города Бреслау, Бисмаркштрассе тридцать шесть, квартира чегыре, три шага вперед! — слышался вдруг неторжественный и негромкий, но твердый голос партизана.

Услышав эти слова, фон Крауз вдруг в одно мгновение нехорошо себя повел.

Это было ужасно. Это было хуже пули, хуже петли. Это невозможно, боже мой! О! Уничтоженный, он не мог сдвинуться с места. Он не полковник новой империи, не гроза восточных областей с огнем и мечом. Он пойман с поличным! Он подсудимый с точным адресом. Названа его скром-

ная квартирка на Бисмаркштрассе. Ну, конечно, его... Нет, нет, нет! Ах...

— Подсудимый Крауз, можно опустить руки.

— Руки опусти, слышь, сволочь!

— А?.. Что?.. Нет, я не могу опустить, простите, пожалуйста... Здравствуйте, — прошелестел фон Крауз высохшим своим языком, улыбаясь, улыбаясь.

Тогда старый Лаврин Запорожец, с большим кричащим шрамом на лбу, вышел из партизанского круга.

— Нет, я не позволю тебе падать, сучий ты сын, — сказал он Краузу, когда тот, не выдержав взгляда, зашатался, готовый упасть. — Не отворачивал ты подлого своего взора перед страданиями и смертью людей наших, не отвернешься и от народного суда. Будешь стоять, пока не обломал я тебе ноги, будешь смотреть мне в лицо!

И, поставив перед собой фон Крауза, Запорожец размахнулся и ударил его по морде.

— Я оскорбляю тебя! Снять с него штаны.

От сильного удара фон Крауз немного пришел в себя. К великому ужасу ощутил он вдруг, что запорожская оплеуха выбила из него что-то самое важное, составлявшее главную его сущность.

— Лаврин, простите пожалуйста, это война. Я пленный... Я офицер, — попробовал он собрать свои силы.

— Нет, это не война! И не офицер ты, не пленный! — сказал Запорожец.

— Лаврин!..

— Помолчи. Я не хочу говорить с тобой, будь ты проклят. Но перед тем, как уничтожить тебя...

— Ты убил моего сына, Лаврин!..

— Чёрт с ним. Помолчи, я не хочу говорить с тобой, я только скажу во имя закона, чтоб было написано в писании, как я тебя убивал. Понял? Не пленный ты, Крауз, не офицер и не человек. Нет! — повторил Запорожец громко и отдельно, словно речь его записывалась всеми летописцами мира. — То, что содеял ты на нашей земле, — не военное, не человеческое дело, и умрешь ты не военной, не человеческой смертью.

Фон Крауз содрогнулся. С острой прозорливостью, которую сообщает преступнику крайняя его низость или звериный эгоизм опытного убийцы, он сразу понял, что смерть пришла к нему в необычайном наряде. Запорожцы... Как он ненавидел их за разбитые свои мечты! Но ненависть уже покинула его, и мерзкий страх замораживал его дыхание.

— Я прошу немножко пощады. Если пыл боевой страсти и безудержность, может быть, в каких-то жестокостях, присущих войне, пылкой молодости...

— Ага... Только мы с тобой, старики, знаем жизнь, — саркастически покивал головой Лаврин. — О, я хорошо помню все твои слова! Изменника думал найти в отце сыновей-коммунистов. Думал посеять вражду, поживиться на домашних наших промахах? На простоватости чиновников наших заработать хотел? Нет, подлая собака, никогда! Слышишь? Никогда! Плохие мы были историки? Прощать не умели друг другу? Национальная гордость не блистала в наших книгах классовой борьбы? Подожди, заблестает, да так заблестает на весь добрый человеческий мир, что ослепнут от зависти навеки все твои фашистские потомки. Это я говорю тебе, слышишь, твой враг Запорожец Лаврин. Я презираю тебя, проклятый немецкий дурак! Ты просмотрел самое важное, что вписали мы, большевики, в книгу борьбы — нерушимую дружбу народов!

Лаврин оглянулся. Партизаны стояли вокруг него — украинские, русские, казахские, татарские, киргизские его сподвижники и братья.

Среди них выделялся один. Он стоял, словно дерево после урагана. Не было на дереве ни цвета, ни листьев. Все сорвано и унесено бог весть куда. Серый пепел упал на партизанские волосы и безмолвная пустыня застыла, казалось, навеки в неподвижных его глазах. Два года ходил он в бои и самые отчаянные засады, но смерть неизменно отступала перед ним. Четверо детей, жена, престарелая мать и отец и все соседи его, раздетые догола, сгорели в старой деревянной церкви ночью посреди пылавшего села. Потрясшие всю его душу горестные их крики в огне никогда уже не дадут ему ни покоя, ни забвения. Тяжко раненный, с обожженной головой и руками, чудом уполз он от немецкого костра к партизанам, и с тех пор уже ни пуля не брала его, ни что — так сильна была в нем жажда мести. К нему и обратился Лаврин:

— Тебе нечего уже терять на этом свете. Отведи убийцу в лес, чтобы никто не видел, как возвратил ты ему всё, что принес он на нашу землю.

Так погиб Крауз.

Дымилась горизонты. Огненные валы с громом и грохотом не один раз перекатывались с востока на запад и с запада на восток. Мертвые танки чернели на полях грозными своими тушами, словно вымершие чудовища в пустыне. И куда ни поехать, куда ни пойти, всюду пахло непохороненным человеческим трупом. Минированные, необрунные поля были полны зловещих тайн. Враг снова бежал.

Снова входили в село передовые отряды. Пролетали танки, артиллерия.

Снова выползали из могил и подвалов землистые люди.

— Здравствуйте!.. — взволнованно кричали бойцы.

— Да, здравствуйте! Довольно уж вам ездить, — вздыхали женщины. — То вперед — то назад, то сюда — то туда, то партизаны тебе — то полиция, то каратели — то немецкие вошепруды. Да злые поделались, ну прямо жизни нет!

— Не война — смертоубийство!

— А ты кто? Какого чина? Откуда? Где ранен? В каких боях?

— Вот! — показал Мина веревку с петлей.

— Кого победил? Перед кем не отступал? Кого защищал? — разгневался комбатареи Сироштан. Он был храбрый и сильный воин с двумя орденами Красного Знамени и четырьмя знаками ран и контузий.

— Я царя защищал, не отступал, — сказал старый седой, как лунь, глупый дедок.

— А, слышали мы эти балажки в начале войны! И плакали от стыда, сдуру... Царя... Европа на наших грудях! Вся, без второго фронта, чёрт бы его маму побрал! Два года! Весь металл, вся химия!

— Да и у нас тут тоже химия!

— Царя. Нет таких, как мы. Где они? Не было в истории мира, чтоб на одно государство падала такая тяжесть! Уже теперь многому научились...

— Да, балакаете, а потом снова побежите.

— Не побежим, не бойтесь!

— Да мы уже не боимся. Просмолены и прокопчены.

— Ну и мы тоже.

— Так воюйте, чортъ б вашего батька воевали! Довольно кататься!

— Как кататься?! Кто катается? Какое ты имеешь право так говорить? Кататься... А вы, чёртовы лежебоки, будете тут с немцами землю делить да с бабами валяться?

— А вы не отступайте, так и не будем делить.

— Это примитивный ответ.

— Та мы ж такие. А какие ж мы?

— Жить-то ведь нужно? — с азала одна молодая женщина.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ»

Центральная Украинская студия кинохроники, октябрь 1943 г.

«С тяжелым чувством отходили защитники Родины, уносили на восток самое дорогое — оружие и веру в победу (...). Долгая, суровая была зима, но тронулся лед, забушевали весенние потоки. Красная Армия погнала врага на запад и вступила снова на родную Украину»

— Жить? — вспыхнул Сироштан, пронзив женщину разгневанным взглядом. — Жить? Тебе жить надо? Ага! Постой, я тебе поживу! Я кровь проливаю второй год, защищая отечество, а ей жить нужно...

— А что ж ей делать? Плакать?

— Товарищ капитан! — обратился командир к Кравчине. — Вы слышали? Вот такая и моя баба где-то в Виннице осталась. С немцами, видно, качается. Вот, ей-богу, заберем Винницу — голову отрубая!

Все притихли. Все чувствовали, что Кравчина тут самый старший. Он все время молчал. Что-то он должен был ответить на эти слова.

— Так, — сказал Кравчина тихо, — так что выходит, ты, Сироштан, уже воюешь за то, чтоб отрубить в Виннице голову своей жене, которую ты назвал бабой? Или как тебя следует понимать?

— Да как, разве?..

— Постой, постой, постой! Ты командир, герой, у тебя два ордена и четыре раны. Неужели ты, проливая кровь свою, так и не понял до сих пор — кто мы и что мы? Что не обыватели, не свидетели истории мы, а герои великого грозного времени. Что хотя и не наживем ни капиталов, ни земель чужих не завоюем, ни людей не покорим, что когда вернемся домой на пожарища и руины, многим некуда будет и голову свою приклонить: ни дома, ни отца, ни матери, ни брата, мы скажем — мы победили! И это будет величайшая, самая гордая наша правда на множество столетий.

— Правда, сынку! — послышались голоса из толпы. — Хлеба напашем и хаты построим. Дело ведь в жизни и в чести народа.

— Правда, батьки! — сказал Кравчина. — А жизнь и честь в победе. Сегодня каждый из нас репашет две победы. Победу над фашистами — отечественную, мировую, великую, общую победу. И победу личную —

малую, частную над множеством своих недостатков, над грубостью, дуростью, извини меня, Сироштан, над злом, неуважительностью и, кстати, плохим отношением к женщине.

— Сыночку! — послышался плач.

— Нас много. Нас миллионы, уже прошедших через огонь страданий, прокуренных и просмоленных в боях и невзгодах. Я верю, что сумма этих личных наших частных побед будет необычайной, поразительной.

И, словно видя уже эту победу совсем близко перед собой, как дорогую свою возлюбленную, Кравчина улыбнулся ей. За ним улыбнулись вдруг и все присутствующие, все до единого. Это было абсолютное доверие и единство самых дорогих, великих народных чаяний, осознанных, выстраданных в тяжелых, почти непереносимых невзгодях. Можно было не сказать больше ни слова и всем разойтись, чтоб не забыть никому и никогда этой улыбки и молчания, но все смотрели на Кравчину, и он, вспомнив весь пройденный тернистый путь, понял тут, среди родных своих людей, к которым так стремилась его душа, что отступления больше не будет, — даже, если бессмертие народа придется утверждать ценою собственной жизни, помноженной на жизнь всех его боевых товарищей и братьев.

— Помози вам господи и пречиста мати божья, — сказала старая Бесарабиха. — Прощать надо один одному побольше да сочувствовать, — тихо обратилась она к Сироштану. <...>

Сироштан молчал. Он стоял перед понесшей огромное горе старой матерью, безоружный и маленький. На него глядели десятки глаз. Для спасения репутации закаленного рубаки ему хотелось сказать какую-нибудь грубую фразу или что-либо смешное, но он не находил в себе этих слов. Им овладело вдруг странное волнение. Умел ли он жить? Думал ли о жизни, о родине, о семье в их единстве или только действовал, погруженный в ненависть к врагу, в труд и подавление страха сражений? Творил ли он грозную историю своего народа и несчастной, затерянной в море бесправия и страшных случайностей молодой своей семьи? Не упрощенно ли, механически выполнял он суровые повеления истории?

Сироштан не мог оторвать глаз от Бесарабихи. Он словно впервые предстал перед народом, во имя жизни которого он нес в огонь свою жизнь тысячу раз.

— Вот так-то, Сироштан! — сказал улыбаясь Кравчина. — Слышал?.. Ну, вот... А жене своей... как ее зовут?

— Мура.

— Сам ты мурый. По отчеству?

— Григорьевна.

— Дети?

— Трое.

— Как зовут?

— Джек, Рихард и Тимур.

— Глупости.

— Как собачата! — засмеялся кто-то.

— Тихо!

— Марии Григорьевне поклонись от меня, если меня убьют до Винницы и я не смогу сам поздравить их с освобождением как командир твой и друг. А вас, граждане и гражданки, поздравляю — и простите за опоздание. Трудно... Всё. По местам!

Все разбежались. Остался один Кравчина. К нему прижалось не меньше двадцати женщин. И тут они вдруг так заплакали горьким плачем от пережитого, так заплакали!..

Он смотрел на запад. Он был необычаен.

Капитан Василь Кравчина стоял на холме и смотрел в бинокль. Когда недобитая немецкая пехота хлынула в образовавшуюся брешь, он стер ее с лица земли. Но бой прекратился ненадолго. Не успели артиллеристы перекурить, как уже холм задрожал под ними от тяжести вражеской артиллерии, задышал, заklubился, как огнедышащая гора. Заревели над головой самолеты, а вдалеке из-за холмов выползли уже танки. Кравчина бросился в блиндаж.

— Якимаха?!

— Да!

— Выходи с батареей направо вперед!

— Да!

— В ложбину выходи, в ложбину направо! — говорил Кравчина по телефону Якимахе. — На тебя сейчас пойдет из-за бугра танковый вал. Принимай хорошо!

— Да!

— Не отступать до смерти! Передай ружейникам — я приказал.

— Да!

— Шинкаренко!

— Да!

— Смотри на Якимаху. Га?.. Ко мне...

— Товарищ капитан!

— Дегтяренко?!

— Да!

— Ну?

— Нечем дышать! Сильно накрыло!

— Га?

— Прижало сильно!

— Чем?

— Бомбами!

— Бомбами?

— Да!

— Якими бомбами?

— Важкими!

— А ты яких хочешь? Легеньких? — рассердился Кравчина. — Ты где сидишь? Где ты сидишь, я тебя спрашиваю? На войне ты сидишь или нет? Говори, где ты сидишь?

— Да на войне. А где ж, по-вашему, на стадионе «Динамо» или на свадьбе, чтоб она трижды сгорела, тряся ее матери, с такою войною!

— Замолчать! В чем дело?

— Пораненый...

— Га?

— Руки нету. Ясно?! И ноги... И людей поранено!

— Запорожец! Давай Запорожца!

— Запорожец!

— Батарея Дегтяренка вышла из строя! Приказываю спешно занять его позицию.

— Да!

— Стоять насмерть!

— Стою!

Громадной силы тяжелый снаряд обрушился вдруг у самого блиндажа капитана, за ним другой, третий. Завалило блиндаж. Капитан Кравчина выполз из него чудом, как из могилы.

— Запорожец?

— Да!

— Стоять насмерть!

— Да слышал уже. Стою! — сказал Запорожец. И тут же строго повелел своей батарее точно выполнять приказ командира.

— Только прошу без суеты, — прибавил от себя Запорожец, когда батарея под огнем стала на новой позиции. — Когда при мне суетятся, я тогда перестаю понимать противника. Я презираю такую войну. Понятно?

— Да.

— Да не да, а точно. Понятно?

— Точно!

— От суета... Ну, давайте!

И Запорожец плюнул в ладонь, как добрый плотник.

Трудно найти человека, от которого можно было бы услышать такие умные слова в такое время. Другой на его месте залепетал бы уже чёрт знает что, видя, как неслась из-за угла на батарею большая колонна танков. Они грозно вздымались, как корабли на волнах, стреляя на лету из орудий и пулеметов. За ними громыхали десантные прицепы, битком набитые пьяными автоматчиками. А на самих танках сидело множество зеленых фрицев, цепляясь друг за друга, как паразиты.

Грохот и гром и гул потрясали всё. Вся земля содрогалась под тяжестью железного потока. Но Запорожцу, казалось, только этого было и надо.

— Давай огонь!! — крикнул он вдруг невероятно громким грубым голосом и весь преобразился.

Задрожали Ивановы хлопцы от этого крика, бросились к орудиям. Через мгновение ничего уже не было слышно.

Орудийные расчеты металась, как львы, в бешеном ритме. Снаряд! Замок! Прицел! Огонь! Снаряд! Замок!

Танки лопались перед ними от прямых бронебойных ударов и бурно горели с прицепами, как на страшном суде. Горело железо, десант, горела сталь и рвалась все ближе и ближе.

— Спокойствие!

Орудия прыгали, как цепные собаки, и рывкали и выли и металась в безумном остервенении.

Бешеный накал гнева и страсти битвы придавал бойцам такую громадную силу, что тяжелые орудия вертелись у них в руках, как игрушки. С гигантским мускульным напряжением они откатывали их, поворачивая вправо, влево, подкатывали вперед. Они были мокрые, как в бане.

— Огонь! Огонь! Огонь!

Вдруг по какой-то радиокоманде все немецкие танки мгновенно повернули вправо и, передавая немало слетевших своих автоматчиков, устремились на батарею Сироштана.

Тогда Иван быстро подал особую короткую команду. Ударили тогда по танкам из всех орудий шрапнелью, ударили все пулеметы и как ветром смели с них весь десант до одного немца. Только его и видели! Один только немец и слетел с танка живым. Потеряв разум, он бросился вперед на батарею и подбежал к Запорожцу с таким бессмысленным смехом, что тот испугался.

— Тю, чёрт тебя носит! Уберите эту паскуду!

— Победа! Победа! Ура! — закричали Пидтыченко, Косарик и Торехтий.

Нет, это еще не была победа. С левой стороны, у самого начала излучины реки заходили уже вброд, в обход артиллерии, свежие немецкие силы.

Но не удалось немцам обмануть хитрым маневром доблестных артиллеристов. Отдав приказ гаубичным батареям перевести огонь на переправу, сам Кравчина и минометчики Лобода Иван, Драгун Петро, Романенко, Коноваленко, самые отчаянные пулеметчики и бомбометатели —

Владимир Таранов, Гловацкий, Джума Урсулаев, Муравин Степан, Степан Чумаков, Ковтун Данило и множество других, которых уже нельзя было разглядеть на лету, — всё, что было самого быстрого, горячего и бесстрашного при артиллерии, всё мгновенно устремилось к реке, все ездовые, шоферы, разведчики, связисты. Каждый понимал, что значила здесь секунда промедления. Немцы уже были в реке.

Какая была река! Какая была река! Прекраснейшая из всех текущих рек. Та самая, которую переходили вброд веселые дивчата с граблями и сорочками над головами и восхитительными песнями и смехом! Какая была любимая нетронутая река! Она стала неузнаваема. Она была поругана, растлена и обезображена врагами.

Вода текла в ней мутная, кровавая, с дохлой рыбой, трупами и прочими остатками страданий. Снаряды ввергались в нее и рвались на дне, и из глубоких заводей и ям выворачивались желто-белыми чревами разорванные громадные сомы, сазаны, щуки и прочая рыбная погибшая жизнь.

Валились столетние тенистые деревья и падали в реку, корнями вверх. Какая была река! И грязь, и муть, и кровь в реке, и смерть!

Это была уже не река, а сток нечистот.

Летали стаи перепуганных, обезумевших птиц над боем. В воздушных волнах, как в тайфуне, их кидало от взрывов из стороны в сторону, вперед — назад, вперед — назад! Они падали от грозных ударов на землю, ища защиты у чуждых и страшных людей.

Лисицы дрожали в вонючих лисьих норах. Волки в кустах, наевшись человечины, припадали пузами к земле и волочились, пачкая ее в отчаянном проклятом волчьем страхе. От ужаса у них поотнимались ноги и желудки, и закарлючились хвосты под животами. Они валялись по кустам, как дохлые, и ползали, не смея даже выть, и лязгали зубами. Волчицы плакали. Так страшен был мир в бою. Один лишь человек мог перенести бой.

Тут билось бессмертие со смертью.

Воздушные волны, могучие воздушные завихрения от пролетающих и рвущихся снарядов и мин срывали людей с земли, кружили их, как осенние листья, и бросали на землю.

Весь воздух пришел в яростное движение, весь он, вся атмосфера звучала, редела, выла, взрывалась, крикала и гремела тысячами громов. Воздух горел! На бойцах загорались сорочки. Горели спины у людей. Кричали: «Ай, горю!» — и падали на землю, и крутились на ней, туша друг друга ударами ладоней.

Семь раз входили бойцы в соприкосновение с противником. Семь тяжчайших немецких атак отбили они в дым и прах. Тридцать шесть пылающих танков возносили уже в небо грозную их славу. Трупов лежало между танками множество.

— Запорожец!

— Да!

— Как дела?

— Га? Добрые дела. Га?.. Ну, поставили насмерть, ну и стою! Га? Не дразните меня, товарищ капитан, не люблю я по телефону балакать.

— Резервы не подошли, гады! Но все равно отступать не будем! Га?

— Га? Не слышу... Не чую... От, суета...

Ничего уже не слышал Запорожец. Из ушей у него текла кровь. Полтора десятка мелких минных осколков жгли его тело и злили, как тигра. Половина батареи уже не стояла на ногах.

Немцы пошли в атаку в восьмой раз, потом в девятый, в десятый, в одиннадцатый! Одиннадцать раз почти непрерывно бросались исступленные немцы в атаку — и одиннадцать раз отбивал их Кравчина. Тогда немцы пошли в двенадцатую атаку, танковую.

Новые танки прибыли прямо из Франции, где они целый год ожидали вторжения англичан. Чистенькие, без единой царапины, с новыми, одетыми во все новое молодыми танкистами, со свежими пушками, десантными экипажами и порнографическими фотографиями у замков. Как бешеные собаки, неслись они прямо на центр артиллерийских позиций против самого Кравчины, уверенные в полном его истощении.

Сначала Кравчина дал по ним бешеный огонь из всех орудий и пулеметов, а потом, когда десант слетел с танков, как стая подбитых воробьев, он вдруг прекратил огонь и велел спрятаться всем у орудий. И лишь когда танки были уже совсем близко, когда разгоряченные молчанием немецкие командиры танков высунули из башен свои маленькие головы, считая себя уже победителями, он внезапно повелел огонь. Не многие немецкие командиры успели спрятать свои головы. Выстрелы следовали один за другим с невероятной скоростью. Бронебойщики, находившиеся в щелях, в непосредственной близости между танками, били на выбор направо и налево.

Как забегали по танкам синие огоньки, как загорелись танки да как начали рваться изнутри! Да как стали выскакивать из них с криком и визгом «свежие» фашисты!

Страшно расправились с ними артиллеристы.

— Бейте, бейте, хлопцы! Не жалейте ни одной твари! — кричал Кравчина, работая уже у батареи раненого Якимахи как боец.

Много танков разбили и сожгли товарищи в этой атаке, много немцев убили совсем близко перед глазами... Глаза в глаза, крик в крик — никого не пожалели. Все отличились до одного человека, каждый пролил кровь врага. И танки жарко пылали перед трупами своих хозяев высокими, уходящими к небу кострами. Немцы были потрясены и бежали.

Вдруг на бойцов посыпалась с неба громадная лавина разноцветной бумаги. Ядовитые листовки с сильно действующим гадким содержанием для отравления воли и разума противника буквально укрыли всю землю, орудия, бойцов и убитых товарищей.

Воцарилась гробовая тишина. Немцы попрятались в свои логовища и следили в бинокли за отравляющим действием листовок.

Листовки были свежие, изготовленные в Берлине самыми тонкими составителями ядов. Подделка правды была в них взболтана в такой пропорции искусной тонкой лжи, хитрости, угроз и обещаний, что получилась смесь, способная свалить с ног уставшего человека.

«За что воюете? За что умираете?» Этот священный вопрос, написанный рукою врага, приобретал какой-то порочный смысл и, падая на бойцов с неба в сотнях тысяч своих повторений, шуршал под ногами и, казалось, шептал со всех сторон, как сатана — «За что?.. За что?.. За что?..»

Чувства бойцов взбудоражились до крайнего напряжения. Но никто не поднял листовок. Ни один боец. Все отворачивались от них, как <от> мерзости, недостойной человеческого взгляда. Один только капитан Кравчина поднял листовку.

— Поднимите все, — сказал он бойцам.

— Нет, не годится нам это читать. Не хотим пачкать свои руки и души в такое время, — сказали бойцы и нехотя подняли бумажки.

— А теперь, братья мои, — сказал Кравчина, — пока немцы думают, что мы заняты чтением, хочу я напомнить вам перед самым решительным и, может быть, для многих из нас последним боем, за что мы бьемся, за что умираем... Идите сюда.

Бойцы подошли к командиру.

Их было уже немного. Они стояли перед ним мокрые от тяжести трудов и черные от дыма и запекшейся крови.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ...»
Центральная студия документальных фильмов и Украинская студия кинохроники,
май 1945 г.

«Минуя пожары и хаос разгромов, мы заходим с героями в украинский сад. Это похоже на праздник, но праздник еще впереди. Предстоит еще много боев».

Раненные стояли, опираясь на нераненых, и смотрели на него с непередаваемой нежностью. А у кого были перебиты ноги или спины, или кто не мог уже стоять по причине головоккружения или слабости, те лежали поодаль, как подбитые журавли, и вытягивали шеи, чтобы тоже послушать своего командира. От них шел пар и поднимался вверх.

Кравчина понял, что не обычных ответов, выражаемых в денежном или земельном исчислении, ждут от него бойцы. Высокие необыденные мысли светились на их простых лицах. Перед ним стояли участники великих событий, живая грозная история, ее авторы и кровавые ее исполнители.

— За что мы бьемся? За что умираем? — Голос Кравчины вздрогнул от охватившего его глубокого волнения. И волнение передавалось бойцам...

— Враги наши бьются за личные богатства, за власть над нашей землей. Друзья наши сражаются за мир и лад, за преимущества благополучной и счастливой жизни своих стран. И спрашивают недоуменно друг у друга в кабинетах: за что сражается украинский советский селянин? За сколько долларов или марок, как немецкий, или нет? За столько ли гектаров, как Гитлер обещает каждому солдату? Нет, не за столько, братья! Мы бьемся за то, чему нет цены в мире, — за Родину...

— За Родину... — тихо вздохнули бойцы. <...>

Кравчина гляделся в лица изумительных своих воинов. Не простые люди стояли перед ним, нет. Прошедшие с трудами, гневом и тягчайшими боями всю Украину, Дон и волжские степи, с незабываемыми разлуками и встречами, удивившие весь мир под Сталинградом, выдавшие сверхчеловеческие виды. Перед ним стояли профессора боев, засад и грозных нападений. <...>

— Вот они! — показал Кравчина на немцев, и голос его был гневен, как голос народа. — Скажите мне, братья, можем ли мы не биться?!

— Нет, будем биться насмерть! — закричали артиллеристы.

И хотели было бежать уже к орудиям, но Кравчина остановил их одним движением руки.

— Не на смерть, а на жизнь! За великий Советский Союз народов и за наше украинское государство от Закарпатской Руси до этого поля боя!

— Огонь! — закричал, не сдерживаясь, Иван Запорожец.

Не выдержали народные сердца. Обняли бойцы друг друга, как стояли, и заплакали. Только самые сильнейшие стояли без движения, как замороженные, сдерживая гордые слезы.<...>

Немцы пошли в атаку в тринадцатый раз.

Потерпев двенадцать неудач, главный немецкий начальник понял, что он погиб. Тогда он решил произвести последнюю — психическую атаку на Кравчину.

Забросав артиллеристов листовками, он приказал своим солдатам снять штаны и сорочки и наступать в одних трусах, со смехом и пением устрашающих песен.

Покорные немецкие обыватели стали молча раздеваться, думая в ужасе о смерти, о пенсии для семьи и проклиная втихомолку свою судьбу. Тогда, заметив уныние в раздетых рядах, главный начальник пообещал солдатам прибавить по три гектара украинской земли на голову и велел им выпить водки с веселящим снадобьем. Когда снадобье подействовало, и солдаты, потеряв разум, начали весело галдеть и подхихикивать, он погнал их в атаку под рев сирен, свист и треск автоматов.

— Айн, цвай, драй, фир!
Наше сердце смеется в восторге!
Айн, цвай, драй, фир...
Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!
Свись!

Вот что значит маршировать, когда нас едет

Гитлер!
Гав! Гав!

— Товарищ командир! Уже показались. Идут без штанов и гавкают, — доложил Запорожцу младший сержант Неборак.

Услышав это сообщение, Иван Запорожец пришел в такую ярость, что некоторое время он сидел в неестественно застывшей позе. Потом он вскочил, как ужаленный. Но последовавший вдруг телефонный приказ командира охладил его. Кравчина сообщил ему, что снаряды уже на исходе, что их почти уже нет.

— Видите, — сердился Запорожец на своих бойцов, — говорил я вам, берегите снаряды! Вот теперь смотрите на фрицев да чухайте себе потылицы, пока не подойдут на сто метров.

— Ничего, товарищ сержант, — сказал Пидтыченко, командир второго орудия. — Раз уже есть такое запрещение, мы подождем. Пускай подходят хоть на пятьдесят. О, смотрите! Тысяча чертей его матери!

Из дымовой завесы показались фашисты.

Бойцы припали к орудиям, пулеметам, автоматам, ко всему, что могло стрелять.

Враги шли полуголые, грязные, с волосатыми грудью и животами и являли картину жалкую, омерзительную, как вырвавшийся на волю сумасшедший дом. Они хохотали, свистели и выли, пригланцовывая. И только застывшие в ужасе глаза их выдавали тупое страдание. Это были словно не люди, а дурной сон, приснившийся больному.

Бойцы крепко держались за оружие. Однако по мере приближения

немцев у многих забегали по спине мурашки. Но тут их выручил природный спутник их жизни — смех.

— Гей, немцы! Штаны потеряли! — закричал наводчик Самойло Косарик.

— Нет, не потеряли! Послали Гитлеру в Берлин на просушку! — сказал Муравин.

Все засмеялись.

— А сорочки сняли для чего?

— А то ж на них от лая шерсть выгнало, как на собаках! Чуешь, как гавкают? Давай, давай скорей, психи! — кричал Муравин, махая рукой.

Тут уже все развеселились и стали отпускать по адресу немцев замечания.

— Ото ж она и есть психическая атака, что гавкают, как псы! — сказал Овчаренко.

— Эге! — сказал Запорожец. — Вот сейчас они у меня погавкают! Сейчас полетит из них собачья шерсть. Спокойствие!

Когда все умолкли и немецкое приближение стало уже нестерпимым, когда, казалось, слышно было их зловонное дыхание, Запорожец подал команду.

Все задрожало. Все, что двигалось в передних рядах, было разорвано и покалечено сокрушительным огнем. Однако следующие ряды не повернули вспять. Голое немецкое мешанство лезло через трупы вперед и падало грудями на мины, на пулеметы.

Рыжий ефрейтор Густав Шмудке лез напролом, как замороженный. Был ли он храбр и отважен? Он не был ни храбр, ни отважен. Он выполнял высший закон своей жизни в войне — приказ! Он сходил с ума от ужаса. Но сзади были пулеметы, а впереди — земля, гектары. Как он хотел земли! Как он добивался ее! Он хотел уничтожить на ней все живущее. Целый год он колупал ее пальцами, растирал на ладони, нюхал, брал ее в рот, чмокал губами, и водянистые глаза его блестели радостным блеском.

— О моя земля, моя, моя! — думал он с жадной дрожью.

Пьяный автоматчик Шмудке упал с разбегу в яму, прямо на бронебойщика Ивана Лободу. Долго боролись они в бронебойной яме, но Иван задушил его и набил ему полный рот родной земли. Потом, тяжело дыша, он поднялся, посмотрел в сторону батареи.

Ее уже не было видно. С левого фланга к ней уже двигались немецкие танки с огнеметами. Огнеметы метали огонь. Все потонуло в дыму.

Напрасно вызывал Кравчина батарею Запорожца. Никто ему не ответил. Выстреляли запороженковы хлопцы все положенные им в жизни снаряды, добре потрудились и попадали спать на вечные времена.

Смерть не поскудилась на них. Не пожалела ни красок, ни грима, ни зияющих ран, ни жесточайших людских ожогов. Каждому отпустила она пудов по двести горячих осколков и пуль и огненных шаров температуры высочайшей.

Никто уже не узнал бы их — ни отцы, ни матери, ни жены. Да и сами они в последний час не узнавали друг друга. Так изменили их страсти смертного боя.

Всё отдали. Всё до последней нитки. Рассчитались с жизнью, с войной, с врагами вовсю. Не мудрили, не прятались в резервах и тылах, не обрастали родичами на простых своих артиллерийских постах. Не выдавливали из малых своих талантов большой корысти, пренебрегали талантом, не любили выставляться напоказ ни в целом виде, ни в раненом, ни в каких доблестях, мало дорожившие своим — неуважительные, насмешли-

вые и небрежные Овчаренко Гнат, Телига Захарко, Иван Гавриш, Степан Муравин, Паляничка Трохим, Косарик Самойло, Пидтыченко Левко, Неборак Мусий, Глебов Роман, Джума Галиев и Андрий Затуливитер. Остальные были в кусках — где рука, где нога, а где и голова.

Не было у них <ни> ненависти к другим народам, ни зависти. Не бывали они ни в Америках, ни в Парижах, ни в Лондонах. Не видели они союзников своих в лицо, ни их союзных жен, ни благополучных их детей. Только злобные лики жестоких, заклятых врагов и видели они при жизни в атаках. Вот какие были.

Танки пошли на батарею Сироштан. С мучительным трудом добрался Сироштан до телефона. Кровь заливала ему лицо. Он облизывал ее, соленую, и протирал липкой рукой окровавленные вытекшие свои глаза. Кое-как нашел он телефонную трубку. Мины кричали вокруг, словно гигантские жабы — ква, ква, ква — ррр!

— Товарищ капитан! Что делать? Закидает минами!

— Га?

— Минами закидает! — плевался кровью Сироштан.

— А ты что думаешь, Сироштан? Вареников с вишнями закинут тебе немцы, га? Я знаю тебя, ты любишь вкусные блюда, — пробовал Кравчина поддержать дух командира бытовыми шутками. — Сироштан! Алло!.. Га? Стоять!..

— Да! — сказал Сироштан.

А стоять уже было не с чем. Не было снарядов и расчеты ранены.

Вдруг мины умолкли. На батарею шел тяжелый вражий танк. Слепой Сироштан бросил трубку и заметался по земле в поисках приготовленных мин.

— Не вижу я мин... Где они? — шептал он, шаря вокруг окровавленными руками. — Покажите, где они?!

— Вот они, — сказали зрячие раненые.

Тогда, надев их на себя, два диска, Сироштан выпрямился.

— Прощайте, братья! Хай живе наша маты Украина! Хай сгине тьма! —

И пошел навстречу фашистскому танку.

Он был слепой, но в эту минуту ему суждено было увидеть весь мир. Он вменялся в его молодом, горячем сердце. Под ногами его содрогнулась земля.

Молитесь, матери, молитесь...

На третьей батарее Мусий Загнибеда, Вдовин и Остап Горобец заряжали орудие втроем. У них было уже только три неполных руки. Недригайло работал у орудия один. Прибежал капитан Кравчина и сам стал у третьего орудия.

Танки подходили на десять метров. Земля тряслась, как в лихорадке, и орудия дрожали мелкой дрожью от близости танков, и стреляли танкам в лоб. И танки лопались, как яйца, и разлетались от прямых ударов и внутренних взрывов. И тогда весь орудийный расчет кричал ура, скользя в своей крови и падая — кричал ура, ура, ура!

Но вот кончились последние снаряды. Тогда воины бросились в щели с гранатами, с минами, кто с чем мог. И неприятельские танки стали над их головами.

— Рус, сдавайся!

— Нет, не сдадимся! Не просите!

— Наш фюрер дарует вам жизнь! — громко читали немецкие танкисты слова из своих дурацких книжечек.

— Мы презираем вашу жизнь!

— Долой войну! Мы хотим уже мира!

— Не будет вам мира! Не уйдете живыми!

Тогда танки начали вертеться, как отравленные псы, на одном месте.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ»

Центральная Украинская студия кинохроники, октябрь 1943 г.

«Обнажите головы, современники великих битв <...> Смотрите, ненавидьте, презирайте проклятых убийц наших детей <...> Не забывайте и не прощайте ни одной материнской слезы»

Посыпалась земля. Тяжелые гусеницы заскрежетали по стальным каскам бойцов.

— Рус, сдавайся! Союзники обманули вас!

— Сами вы мошенники!

— Вы пленные! Вы наши!

— Враги, враги мы!

— Рабы!

— Никогда! Брешете, собаки!

— Мы сидим у вас на головах!

— Брешете! Вы сидите на минах! — крикнул Запорожец и высунул из-под танка руку с миной.

— Три мины!

Забегали у немцев мурашки по спинам. Впились они в свою дурацкую книжечку. Но не было в книжечке нужных слов.

— Рус, не бойся! — лепетали немцы.

— Не боимся! Всех перебьем, как собак! Всех! — закричал из-под гусеницы раненый Якимаха. — Думаешь, танками задавить народ? Не помогут тебе танки. Нет! Украину пожалел? Пожалел рабов на казацкой земле? Выходи! Выходи, рабовладелец! — закричал Якимаха и, выскочив с миной из-под танка, застучал по танку.

— Выходи, Гитлер! Слышишь?!

Неизвестно чем бы кончилась эта неравная борьба. Может быть, и не хватило бы благородного человеческого духа против немецкого железа, но тут вдруг ударил по немцам подоспевший на выручку полк. Заметались немцы, загалдели<...>

Истощенные атаками и большими потерями, не выдержали они бурного натиска полка. Кроме того, у них перестало действовать веселящее снадобье, и солдатство, ощутив сильный страх и головную боль, а также убожество своей обнаженности, вдруг пало духом и, забыв о надбавке

гектаров, попятилось, согнулось и скатилось в реку, захлебываясь и топясь целыми кучами.

— Не давайте им остановиться! Не давайте! — кричал Кравчина Орлюку и Вовку Миките.

Забурлила вода в реке, забрызгала червонными брызгами, расступилась, и не успели немцы оглядеться, как уже Орлюк и Вовк Микита выскочили со своими батальонами на другой берег.

Родная земля содрогалась под ними от взрывов снарядов и бомб. Но уже вкатывались в бой новые вражеские силы. Два полка отборных немецких войск навалились с ходу на полк Запорожца. И начался невиданный по страсти удара новый бой.

Какие бились люди! Словно целые столетия несокрушимого упорства и боевых щедрот раскрылись вдруг в Вернигорах, Трухановых, Вовках и Якимахах!

Родная земля их отцов и дедов умножила их гнев и силу боевых дерзаний. Они словно вросли в землю и, когда немцы были уже совсем близко, они поднялись, как один, и пошли в атаку против самой середины грозного немецкого вала.

Рыжеголовый молодой немецкий генерал, прославленный своим бесстрашием и крайней жестокостью, пришел в ярость от этого удара. Он быстро повелел зажать полк в железные тиски и уничтожить в прах, чтобы замучить и добить потом раненых, контуженных или схваченных руками. Для этой цели он имел специальный отряд особых людей, видевших наслаждение в человеческих страданиях. Это были мастера смерти, опытные изобретатели жутких увечий и пыток, перед которыми бледнели жестокие средние века.

Кравчина понял маневр рыжеголового, но уже не было ни времени, ни возможностей от него уклониться. И он пошел на невозможное.

— Вперед! Только вперед! Дорожите каждой секундой! — кричал он командирам. — Пробивайтесь вперед и наседайте ему с правого фланга на потылицу!

Никто уже, казалось, не слышал приказа командира. Но, повинувшись ли инстинкту победы или вдохновению военного своего таланта, или просто решив пролить свою кровь на родной земле за самую дорогую цену, — бойцы сделали невозможное. Они пробили немецкий вал с быстротою, неслыханною в битвах, и, выскочив в тыл противника, появились вдруг перед самым штабом рыжеголового.

Это нарушение правил войны так поразило бесстрашного генерала, так грубо попутало все его параграфы и планы и так напугало его, что он еле выскочил из штаба и помчался к первому полку.

Но, как говорится, одна беда не приходит. Уже отступала дивизия. Уже не было штаба в сосновой роще. Не у кого было спросить о происшедшем. Уже пятились из густых кустарников целые подразделения. И откуда-то с юго-запада, с левого фланга, почти с тыла надвигался орудиный ураган.

— Остановитесь! Гальт! — завыл генерал, побледнев от ярости. Ему показалось на мгновение, что он сошел с ума, что мир сместился в его сознании и летит в пропасть.

— Откуда огонь?! Это фальш! Гальт, мерзавцы! Гальт!

Но никто уже не слушал бесстрашного генерала.

— Катюши! Катюши! Спасайтесь! Тод!..

Обезумевшие солдаты бежали, прикрывая головы руками, как от извержения вулкана. Некоторые падали с разгону и лихорадочно ввинчивались в песок, как змеи. Вдруг леденящий душу исполинский свист и шипенье потрясли помутневший воздух. Фантастический рой громадных оранжевых стрел приближался к роще с молниеносной быстротой. Всных-

нула воздушная мгла, взметнулся до неба сверкающий вихрь, запылал, за клубился и заполнил весь, казалось, мир неизмеримым катастрофическим звуком. Не стало ни сосновых зарослей, ни дивизии, ни бесстрашного рыжеголового генерала. Все сгорело. От генерала остался один железный крест.

Проходила на запад грозная артиллерия. А навстречу ей из порослей лесных мчались уже партизаны.

От тяжести трудов и радости победы и долгожданной встречи с родной армией им казалось в этот чудный ясный вечер, что война уже кончилась и они возвращаются домой навсегда, с победным оружием и гордыми шрамами Великой Отечественной войны.

Множество врагов уничтожили они в глубоких опасных тылах. Много незваных пришельцев нашло себе бесславную и страшную смерть от неуловимой партизанской руки. Но такую кровавую богатую жатву, как при бегстве фронтового врага, они жали впервые три дня и три ночи.

Роман Запорожец с батьком въезжали на родные пожарища. За ними тянулся обоз. Раненые кричали ура на подводах и плакали от радости. Радость возвращалась на землю.

Как величали бойцы артиллеристов Кравчины, этого рассказать невозможно. Они были ранены все, кроме Недригайло и Лободы, которым от этого было даже неловко, и они божились на все стороны, что им так на роду написано, по словам ворбжек. Все им поверили. Все были так счастливы, что забыли о своих ранах. Товарищи бережно несли их на плечах или на руках, радуясь и трогательно улыбаясь.

Они восседали и возлежали на горячих мокрых плечах своих боевых братьев и на многочисленные приветливые их улыбки и вопросы отвечали достойно и скромно.

— А что, очень заседали на вас немцы?

— Да добре заседали, чёрт бы насел на их маму!

— Трудно было?

— Да было и трудно.

— А много вы их тут набили?

— Да до чёрта набили. Гляньте, всюду валяются. Дайте покурить...

— Натё, курите на здоровье.

Вечерело. Бойцы расположились у села на горе над рекою, на старом сельском кладбище. С горы раскрывались далекие родные просторы.

Товарищи сидели после боя, удивленные и нежные, и нежно называли друг друга на вы, и гладили друг друга по голове и по плечам, рассказывая друг другу о далеких родных своих реках и храбрых героях. Некоторые тут же падали на заросшие дедовские могилы и мгновенно засыпали, проваливаясь в сон. И, казалось, во сне еще доигрывали свою страшную игру, жестикулируя и содрогаясь. И глубоко припрятанное страдание вырывалось из их сонных грудей глухими стонами и полыхало на лицах, подобно зарницам не совсем отгремевшей грозы.

Бессмертие народа ощущалось тут, на могилах, в непрерывной смене людских поколений. Тут сидела и лежала, казалось, сама история. На присыпанных свежей землей утратах, среди низеньких холмиков седых далеких прадедов, сидели, опираясь на автоматы, юные гости-герои и рассказывали освобожденным из неволи старшим людям про свои дела. Они читали им величественные ненаписанные книги повествований, каких еще никогда не знал мир и ни один писатель. Они рассказывали о событиях — участники и авторы событий. События были так густо замешены людским мясом, слезами, кровью, криком, стонами, проклятиями, невозвратными потерями, что никто уже ничему не удивлялся. Это был уже новый мир, новая действительность среди старой природы и развалин старых разрушенных хат, в старой земляной одежде, немывая.

Люди представляли собой словно какой-то геологический пласт. Гигантскими катастрофическими силами сдвинуло его со своего места, и неизвестно, остановился ли он на новой основе. Все еще обсыпáлось с него, падало. Вокруг было полно валунов, пыли, щебня, лому — следов катастрофы и запахов бешеных взрывов и трений.

Олеся стояла возле криницы с ведром.

Войска проходили на запад. Пили воду совсем уже по-другому, весело.

— Спасибо, родная!

— Спасибо, серденько!

— Здравствуй, дивчина!

Благодарность и привет и обещание звучали в молодых голосах.

Проходили бойцы. Олеся смотрела вокруг в тревоге. Ей хотелось уже бросить криницу, бежать, искать, спрашивать. Но девичье предчувствие радости не пускало ее от криницы.

— Он придет! Придет Василь! — кричало в ней всё.

И вот он пришел.

Сначала капитан Василь Кравчина подошел к перелазу. Потом быстро, через сад, через сгоревший двор он выбежал на улицу, к кринице. Его уже узнали бойцы. Они начали кричать ему ура!

Олеся оглянулась — Василь!

Это был он и не он. Он был другой. И не потому, что был ранен в голову и руку. Что-то было в нем другое, что-то неизмеримое, непередаваемое.

Она испугалась. Потом она вдруг заплакала, как больная, и поцеловала его в раненую руку.

— Что мы скажем друг другу, Василь? — тихо-тихо промолвила Олеся.

— Скажем: здравствуй, Олеся! — сказал Василь, пораженный ее переменой.

— Здравствуй.

— Какая ты красивая, — сказал Василь тихо и ласково. — Смотри, седая... Ты стала еще красивее. Тебе, видно, горько жилось?

— Я верила. Помнишь? Иногда нет. А ты?

— И я.

— Ты много их убил?

— Множество.

— Я вижу. Ты стал добрый. Больно?

— Нет. Тебе?

— Нет.

Потом они обнялись. Он поцеловал ее руки и лицо. И она.

Потом все произошло, как в сказке. Пришел батько Лаврин, брат Роман, пришел Иван Запорожец, что тоже оказался братом. И хоть все они были ранены, а матери, деда Данила, Савки и Григория совсем не было и хата была сожжена, — стали вместе возле печица и в честь матери зацели:

— Ой, піду я до роду гуляти...

Был вечер. И была ночь. А на утро, рано-рано Олеся снова проводжала на войну весь свой род, дабы никогда не подумали лихие люди, что не был он щедрым на кровь и огонь, посланные ему позорною историей Европы.